



ТОМАС МЕРТОН

Стихи и проза

ТОМАС МЕРТОН

Стихи и проза

Перевод,
составление и предисловие
Анны Курт



Общедоступный Православный Университет,
основанный протоиереем Александром Менем

Москва
2018

Thomas Merton

Thomas Merton Reader. Doubleday, 1974

The Collected Poems of Thomas Merton. New Directions, 1977

The Intimate Merton. Harper San Francisco, Copyright 1999
by Merton. Legacy Trust.

2018. -- 280 с.

ISBN 5-87507-271-7

Томас Мертон -- крупнейший богослов XX в., монах, подвижник, мыслитель, поэт. Подобно Хуану де ла Крису, он сумел соединить святость и литературное творчество. Русский читатель лишь недавно начал открывать для себя его колоссальное духовное и литературное наследие. В книге собраны стихи, медитации, молитвы, отрывки из дневников, переписка с Борисом Пастернаком, который высоко оценил сочинения Мертона и «безошибочное понимание и способность проникновения в сущность» его творчества.

© Издательство Общедоступного Православного университета,
основанного протоиереем Александром Менем, 2018

© Анна Курт, составление, вступительная статья, перевод, 2018

© Андрей, Кириленков, Елена Давыдова перевод, 2018

© Фотографии Джима Фореста

© Curtis Brown

© Liturgical Press

© New Directions

© Harper Collins

© Перевод Анны Курт, Андрея Кириленкова

ISBN 5-87507-271-7

СОДЕРЖАНИЕ

ВСЕЛЕННАЯ ТОМАСА МЕРТОНА	7
СТИХИ	14
Греческие женщины	14
Остров Калипсо	15
Бегство в Египет.....	16
Песня для Нашей Госпожи Кобре	17
Песнь для шествий вокруг лагерных печей	18
Благочестивые размышления в память об Адольфе Эйхмане	21
Макарий и лошадь	24
Макарий младший.....	26
Моему брату, погибшему в 1943.....	29
В молчании	30
Зимняя ночь	32
Псалом	33
Пушки у форта Нокс.....	35
Песня мая	37
Предписания для монахов	39
Путь в бездну	41
Чтец	43
Биография.....	44
Песнь о смерти Аверроэса.....	46
Чтения из Ибн Аббада.....	50
Из китайской поэзии: Чжуан-цзы «Радость рыб»	53
МЕДИТАЦИИ И МОЛИТВЫ.....	55
Искренность.....	55
«Душа моя вспомнила о Господе»	63
Если когда-нибудь была страна.....	64
Святой Хуан де ла Крус	66
МИР ЛЮБВИ.....	75
Пути любви	75
Любовь в медитации	82
Прометей: Медитация	87
Прометей: Медитация	90

Представитель рода человеческого	94
Добрый самарянин	97
Время конца – это время, когда не хватает места	106
ГОРИЗОНТЫ	113
Мистика в атомный век	113
Молитва о мире	121
Видение и иллюзия	124
Искусство и духовность	131
Поэзия, символизм и типология	133
Гераклит темный	143
Письмо Пабло Антонио Куадро о гигантах	157
Молчание	171
Мудрость пустыни	178
Айа-София	184
Завершительная молитва, произнесенная на первой духовной конференции в Калькутте	190
Рецензия на книгу В. Набокова «Смех во тьме»	191
Эпилог	193
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ	194
1941-1947 гг.	194
День за днем	196
4 июля 1952 Ночной дозор. <i>Перевод и комментарии Елены Давыдовой</i>	219
1958 -1964 гг.	231
День отшельника. <i>Перевод Андрея Кириленкова</i>	234
Июнь – ноябрь 1965	243
ПИСЬМА	247
Переписка Томаса Мертон с Борисом Пастернаком. <i>Перевод Андрея Кириленкова и Анны Курт</i>	247
Письмо А. Суркову. <i>Перевод Андрея Кириленкова</i>	257
ПРИЛОЖЕНИЕ	260
ПОСЛЕСЛОВИЕ О. ЯКОВ КРотов	262
БЛАГОДАРНОСТИ	279

ВСЕЛЕННАЯ ТОМАСА МЕРТОНА

Томас Мертон – всемирно известный богослов, религиозный писатель, поэт.

Он прожил не очень длинную и не особенно богатую событиями жизнь. Главные события происходили в его внутренней, духовной жизни.

Мертон родился 31 января 1915 г. на юге Франции в семье художника из Новой Зеландии Оуэна Мертона и американки Рут Дженкинс. В шестнадцать лет Томас остался круглым сиротой: в 1921 г. умерла мать, в 1932 г. – отец. Позже в автобиографии Мертон напишет: «...я остался без дома, без семьи, без родины, без отца, без друзей, без внутреннего мира, уверенности, света, смысла, равно как и без Бога, благодати...» Весной 1943-го на фронте погиб его младший брат Джон Пол. Его бомбардировщик был сбит над Северным морем.

В 1934 г. Томас поступает в Кембридж. Начало 30-х – самые ужасные годы его жизни: пьянство, распутство, скандалы. Во время первой исповеди он боялся шокировать молодого священника и всю жизнь раскаивался в грехах молодости.

Проучившись год в Кембридже, он перебирается из Европы в США. Здесь, переболев коммунизмом, он в 1935 г. поступает в Колумбийский университет в Нью-Йорке и начинает писать рецензии для журналов «Спектейтор» и «Ревью». В 1938 г. в Нью-Йорк Геральд Трибьюн появляется его рецензия на роман В. Набокова «Смех во тьме» (американский вариант «Камеры обскура»).

На втором курсе он с увлечением изучает английскую литературу XVIII в., испанский и немецкий языки, французскую литературу эпохи Возрождения. В автобиографии с большой любовью и уважением Мертон вспоминает преподавателя английской литературы профессора Марка ван Дорена, покоровшего его высокой интеллектуальной честностью, тонкостью и глубоким знанием предмета. Лучшим в Колумбии был курс лекций о Шекспире, прочитанный ван Дореном, и лекции Дэниэла Уолша по богосло-

вию Фомы Аквинского и Дунса Скота. Тогда же он знакомится с философом и богословом Жаком Маритеном – человеком «колоссальной доброты, простоты и благочестия».

В феврале 1938 г. Мертону попадаетея труд Этьена Жильсона «Дух средневековой философии». Преодолевая неприязнь к католицизму, он дочитывает книгу до конца и находит в ней совершенно новые и глубоко созвучные ему мысли о Боге. «В каждом человеческом разуме есть естественная потребность в правильном представлении о Боге: мы рождаемся с этой жадой познать и увидеть Его...» Труд Жильсона перевернул его жизнь и вплотную подвел к обращению.

В том же году Мертон получает степень бакалавра; его принимают в аспирантуру по английской литературе. Тема его диссертации – «Природа и искусство в творчестве Уильяма Блейка». «Что это было за время! Целый год я жил, соприкасаясь с даром и святостью Блейка... К концу лета я проникся мыслью, что жить можно только в мире, пронизанном реальным присутствием Бога»¹.

На последнем курсе Мертон предложил нью-йоркским издателям свой первый роман. Он мечтал стать знаменитым писателем.

В 1939 г., читая биографию английского поэта и священника Джерарда Мэнли Хопкинса, Мертон почувствовал необычайное волнение. Какая-то сила повлекла его на улицу и привела в церковь Тела Христова, где он объявил священнику, что хочет креститься. 18 ноября 1939 г. отец Форд крестил его по католическому обряду.

В 1941 г. Мертон работает добровольцем в знаменитом «Доме дружбы», основанном в Гарлеме баронессой Екатериной де Гук-Дохерти, а в декабре 1941 г. поступает в траппистский монастырь Девы Марии Гефсиманской в штате Кентукки неподалеку от университетского городка Луисвилл.

1 Merton T. Seven Storey Mountain в сб.: A Thomas Merton Reader. N.Y.: Doubleday, 1974. – *Здесь и далее, если не указано иначе, примеч. перев.*

Позже он назовет Гефсиманское аббатство «раем на земле» и «лучшим местом в Америке». Мертон считал, что молитвы гефсиманских послушников спасают мир от гибели. Несмотря на крайне суровый устав, он был счастлив тем, что Провидение привело его в этот «великолепный дворец» при дворе Царицы Небесной. Отныне вся его жизнь будет подчинена исканию воли Божьей, стремлению ходить перед Богом, дышать Им, как дышат и живут воздухом и хлебом.

В 1942 г. по благословению духовника Мертон начал писать стихи и книги для Ордена, а чуть позже – автобиографию «Семи-ярусная гора» (образ взят из «Божественной комедии» Данте). Это «история обращения молодого человека, который родился в Европе в семье художников, прошел через университетскую среду, преодолел пропасть коммунизма и милостью Иисуса был приведен в Гефсиманию»². В 1948 она была опубликована в США и стала бестселлером. Многие исследователи ставят ее в один ряд с «Исповедью» Бл. Августина.

В 1949 г. Мертон пишет книгу «Семена созерцания» о созерцании и внутренней жизни. В 1998 г. «Русская мысль» напечатала отрывок из этой книги с кратким вступительным словом Н. Л. Трауберг, а в 2005 г. она вышла на русском языке в издательстве Общедоступного Православного университета, основанного протоиереем Александром Менем.

Мертон с пристальным вниманием изучал русскую литературу и религиозную философию. Прочитав «Доктора Живаго», он написал Б. Пастернаку о своем духовном родстве с ним, а в дневнике отметил, что Пастернак ему ближе, чем жители близлежащего Луисвилля или Бардстауна. Пастернак высоко оценил медитацию (поэму, как он ее называет) Мертон о Прометее, а в письме Джону Харрису написал, что высокие чувства и молитвы Мертон спасли ему жизнь.

Мертон переписывался с еще одним лауреатом Нобелевской премии по литературе – Чеславом Милошем. Их переписка собрана в книге «Striving Towards Being», 1996.

² Там же.

В своих дневниках он не раз говорил, что из поэтов на него больше всего повлияли испанский мистик Хуан де ла Крус, Уильям Блейк, а из старших современников – Райнер Мария Рильке. Подобно Хуану де ла Крису, Мертон сумел совместить призвание созерцателя и святого с литературным творчеством. Достигнув просветления и святости, он занял не последнее место в ряду американских поэтов. Его стихи печатались в престижных журналах (*New Yorker*, *Poetry*) и включены в антологии американской поэзии.

Мертон восхищался Эмили Дикинсон, ценил Уолта Уитмена, Федерико Гарсиа Лорку, Т. С. Элиота, Джеймса Джойса, У. Х. Одена, Роберта Лоуэлла, Дилана Томаса. Критики отмечали в его стихах интонацию и влияние Уоллеса Стивенса.

В медитациях и дневниках Мертона можно выделить несколько лейтмотивов, к которым он постоянно возвращается: уединение, молчание, простота и чистота сердца как необходимые условия созерцания, добровольная бедность, смирение («смирение важнее рвения»), послушание, сострадание к миру. Как Франциск Ассизский взял в жены бедность, так Мертон сочетался узами брака с состраданием. «Им [монахом] движет не горечь или досада, а жалость ко всей Вселенной, преданность человечеству. Монах бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и неизвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы залечить в себе раны всего мира», – писал он о своем призвании в очерке «Философия одиночества».

В последние годы жизни он становится страстным проповедником мира. Пишет статьи и эссе, направленные против атомной бомбы и ядерного вооружения, против войны во Вьетнаме и холодной войны с СССР. Непостижимым, поистине сверхъестественным образом он умел сочетать интерес к исламу, дзен-буддизму, конфуцианству, Библии, отцам церкви, средневековым мистикам, русской религиозной философии, европейской поэзии и проблеме разоружения.

В дневниковых записях Мертона попадаются поразительные прозрения о природе человека, которые имеют универсальное

значение: «Наши страдания во многом связаны с тем, что мы слишком серьезно к себе относимся. Если бы мы относились к себе как к праху, нам было бы легче».

«Есть только одна вещь, ради которой стоит жить, – любовь. Есть только одно несчастье на свете – не любить Бога».

Стихи Мертона насыщены звукописью, которая, к сожалению, пропадает в переводе.

По словам его учителя и друга Марка Ван Дорена, «звук для Мертона несет в себе смысл, это поэтическое средство, благодаря которому можно увидеть и ощутить опыт любого масштаба». (Merton's Selected Poems, 1967 ed., xv).

Исследователи отмечают, что сокровенность, сложность и тайна многих его стихов вырастают из молчания и одиночества. «Молчание – мать речи», – писал Мертон в одной из медитаций. Молчание и одиночество создают «прекрасный ужас» – ту парадоксальную силу, которая лежит в основе поэтики Мертона. Мертон пришел к глубоко мистическому пониманию: молчание – это особый язык, обладающий такой же силой и воздействием, как слово. (Изучение и практика дзен-буддизма подтвердили это откровение). Звук должен выразить молчание, а не нарушить его.

Другая особенность поэтики Мертона – ее метафоричность. В его поэтической системе метафора означает стремление познать невидимую реальность, выразить невыразимое и выйти за пределы самого языка. Стихотворение «Зимняя ночь» насыщено роскошными метафорами: лунный луч скользит (буквально «звенит») внезапно, словно звук шагов, а свет звезд дзинькает (или звякает), как дверной замок. В стихах, где автор оплакивает погибшего на войне брата, «безмолвные невидимые слезы» Христа «струятся, словно колокольный звон».

Огромная часть поэтического наследия Мертона – переложения и переводы из французской, испанской, итальянской и китайской поэзии. «Макарий и лошадь» – переложение рассказа, взятого из книги Руфина Аквилейского «Жизнь пустынных

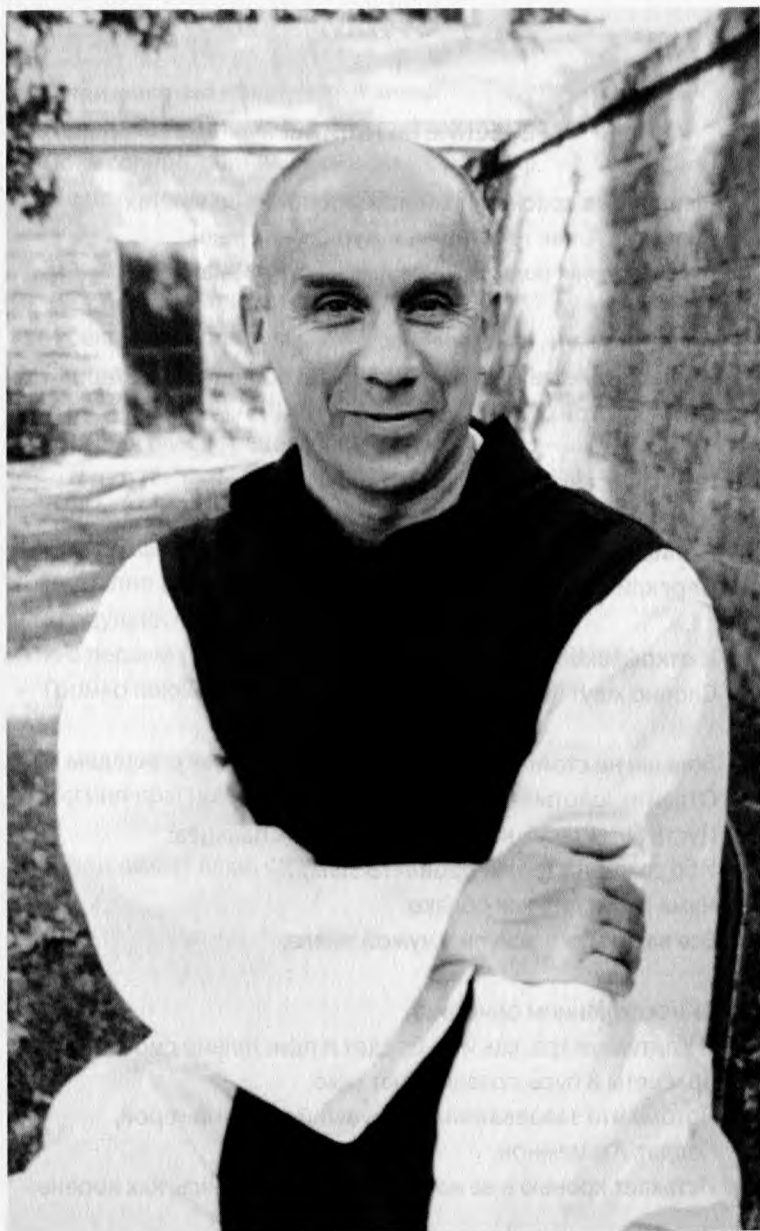
отцов». Этот маленький шедевр поражает «неслыханной», почти евангельской простотой. Его жанр можно определить как смесь жития и фольклора с элементами сюрреализма.

Чеканный стих, афористичность, музыкальность и образность свидетельствуют о подлинном вдохновении и мастерстве автора.

Стихи и проза Мертоня переведены на многие языки мира. Он мечтал быть переведенным на русский язык. В XXI веке его мечта исполнилась.

«Бывают странные сближения». В своей последней и, возможно, лучшей лекции «Христианство», прочитанной накануне гибели и ставшей его духовным завещанием, о. Александр Мень произнес удивительные по своей глубине слова: «Христианство не новая этика, а новая жизнь». Томас Мертон в эссе «Мистика в атомном веке» пишет: Христос «принес учение, больше которого не было и не будет. Но это учение не ограничивается нравственными идеями и предписаниями аскетизма. Учение Христа – это семя новой жизни». Не сговариваясь и ничего не зная друг о друге, два богослова, жившие на разных континентах, пришли к одному открытию. Так ученые в разных уголках планеты открывают один и тот же закон, считывая информацию из одного источника.

Анна Курт



Портрет Томаса Мертон

СТИХИ

ГРЕЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Женщины в красных накидках и золотых браслетах
Колышутся, как тростники, и журчат, как реки,
Вздыхают, как воды Виши, в дверных проемах:

Бегут по земле, как жеребцы,
И мчатся вместе с ветром (кобылы, любовник их матери)
Вниз к пустой бухте.

Прямая осанка, сандалии, стройные, как ивы,
Трясут серебряными браслетами
В оливковом свете облаков и окон,
Перекликаясь друг с другом, как скрипки.

И открывают глаза, широкие, как горизонты,
Словно ждут кораблей из Трои.

Больше не стойте все вместе, вдовы!
Отдайте золотые украшения бедным,
Пусть бусы текут, как воды, меж ваших пальцев:
Ибо сожжена Троя и проклята Эллада,
Чума приходит, как облако.
Все ваши мужи уснули в чужой земле,

За исключением одного.
И Клитемнестра, как ива, бредет и пристально смотрит.
Браслеты и бусы позвякивают тихо,
Потому что завоеватель, вернувшийся домой герой,
Солдат, Агамемнон,
Истекает кровью в ее воображении, извиваясь, как корень.

ОСТРОВ КАЛИПСО

Гляди, как тихо полдневный ветер
Наполняет зеницы леса трепещущими олеандрами,
Пока солнце, поднявшись в зенит, роняет
Медные монетки и драхмы на дно залива.

Крики ныряльщиков плывут по воздуху
Меж парусов прибывшей шхуны,
И белый корабль
Скользит, как лепесток, по лиловым водам
И резко бросает лязгающий якорь в тихую глубь,
Взрывая блеск трепещущей воды.

Потом царица Калипсо,
Проснувшись в доме из ивняка,
Внезапно видит тени на циновке,
Крадущиеся, словно леопард.
И в первый раз слышит птиц с огненными перьями,
Громко поющих свою Литанию на диком древе.

И медленно касается устами
Иссиня-красной раны сладкого граната,

И поднимает веки, словно крышкуклада.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Из конца в конец заснеженного города
Железное войско печатает шаг.
Иродова дружина
Сотрясает ступени домов,
Выполняя приказ.

Не оглядывайся на страну, где взошла звезда,
И не слушай молву, клубящуюся во тьме,
Там, где кровь стекает по святым стенам,
Не воздевай детскую руку,
Благословляя сонм ликующих душ!
Божье Дитя, беги в поющую пустыню,
Где блуждающий лев своим пылающим оком
Твой путь сохранит от зла.

ПЕСНЯ ДЛЯ НАШЕЙ ГОСПОЖИ КОБРЕ

Белые девочки поднимают головы, как деревья,
Черные девочки ходят,
отражаясь в витринах улиц, как фламинго.
Белые девочки поют пронзительно, как вода.
Черные девочки говорят тихо, как глина.
Белые девочки распахивают объятия, как облака,
Черные девочки закрывают глаза, как крылья:
Ангелы наклоняются, как колокола,
Ангелы смотрят вверх, словно игрушки.

Небесные звезды
Выстроились по кругу:
И все кусочки мозаики, земли
Встают и улетают прочь, как птицы.

1944

ПЕСНЬ ДЛЯ ШЕСТВИЙ ВОКРУГ ЛАГЕРНЫХ ПЕЧЕЙ³

Мы усыпляли их и подвергали обряду очищения
Мы превосходно ликвидировали людей и запускали большую
печь

Я был комендантом внедрил надежную систему
учитывая человеческую немощь проводил ликвидацию и
оставался порядочным человеком

Да я был комендантом

Отдавал распоряженья по ликвидации потом усыплял при-
бывших потом делал из них мыло

Я родился в католической семье но узникам не нужен священ-
ник

И я не стал священником а просто наладил превосходную ду-
шегубку которая принесла радость многим

Когда поезда прибывали грязных пассажиров отправляли в
душевую как бы для забавы они не догадывались зачем

Огромная душевая на две тысячи человек поджидала их
и они благополучно прибывали

Там можно было бы собрать оркестр веселых вдов но не все
же время – искусству

Если бы они добрались до места им бы выдали почтовые от-
крытки чтобы они отправили их домой О нас тут заботятся у нас
хорошая работа было бы славно если бы вы к нам присоеди-
нились

Я ввел еще одно усовершенствование построил камеры на
две тысячи мест где принявшие постриг раздетые догола прохо-
дили дезинфекцию циклоном В

Детей брали по причине юного возраста они не могли рабо-
тать их отправляли играть

Их мыли как всех остальных даже больше

Часто женщины прятали детей в груди одежды

но конечно мы находили их и отправляли в камеру на про-
мывку

3 Монолог Адольфа Эйхмана.

Я постоянно отдавал приказы совершенствовал систему запи-
рал дверь

там были цветы мужчины приходили с часами я гарантировал
что все ценные вещи останутся в предбаннике

Я устроил надежную камеру ее плотно закрывали и можно
было смотреть сквозь иллюминаторы

Они ждали душа но через вентиляционные отверстия посту-
пала не горячая вода а совсем другое впрочем эффективная тяга
обеспечивала им полное искупление

мы все это видели в иллюминаторы

Искупленные бежали к дверям ожидая прибытия им обещали
что им удастся как-то прожить

Как я мог понять по их крикам любовь оборвалась
через полчаса находил тех кого ликвидировал

Еврейские узники хорошо работали за надлежащую пищу они
получали резиновые сапоги но я не знал какова их потребность
в пище

Такие же узники одетые в резиновые сапоги растаскивали
тела лежащих у дверей тех кого уже покинула жизнь

стратегические запасы волос и зубов позднее использова-
лись для обороны

Потом мужчины снимали с них чистые обручальные кольца и
радостно уходили с золотом

А я отдавал приказы и делал мыло 6 килограммов жира 9 ли-
тров воды 200 грамм едкой щелочи

Одна беда жир почти отсутствовал

Большая новая фирма продвигала металлические вилки вра-
щавшиеся на барабане

У них был контракт и имея безупречную рабочую силу они бы-
стро выпускали товары

Для отправки клиентов мы предлагаем использовать легкие
тележки на колесах рисунок прилагается

Мы подтверждаем наличие четырех надежных печей и гаран-
тию в случае аварийной ситуации

Я большой человек новый комендант работающий на барабане котла я поднимаю очищенный материал кипячу его 2-3 часа потом охлаждаю

Для проведения теста на запах мыла я предложил экспресс-эскалатор приводящийся в действие последним барабаном мы дали гарантию

Их любовь сгорела в наших печах доведенных до совершенства

но обручальные кольца остались

К радости узников-мужчин управлявших печами наши гости согревались безвозмездно

И все это время я послушно исполнял приказы

Так что меня повесили в начальственной позе

Откуда открывалась панорама объекта и территорий

Вы глумитесь над моей карьерой но сами

поступили бы точно также если бы знали самих себя и осмелились

В наше время мы тяжело трудились и видели плоды наших трудов

наше самопожертвование было сознательным и всецелым

а работа безупречной и тщательной

Не считайте себя лучше из-за того что вы уничтожаете друзей и врагов ракетами большого радиуса действия не видя плодов своих действий

Catholic Worker

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПАМЯТЬ ОБ АДОЛЬФЕ ЭЙХМАНЕ

На процессе Эйхмана открылось одно поразительное обстоятельство: психиатр, который его осматривал, нашел его совершенно здоровым. Я полностью с ним согласен, и это вызывает у меня особую тревогу.

Если бы все нацисты были психически больными, как некоторые их вожди, легче было бы понять их чудовищную жестокость. Но этот спокойный, «уравновешенный», невозмутимый чиновник был добросовестным служакой, выполнявшим административную работу, которая заключалась в том, чтобы надзирать над массовым смертоубийством. Он был вдумчивым, методичным, прозаичным. Читил систему, закон и порядок. Был послушным, лояльным должностным лицом, преданным великому государству. Он отлично служил власти. Не терзался угрызениями совести. Говорят, что никаких психических или соматических расстройств у него не было. Бессонницей не страдал. На аппетит не жаловался. Правда, когда он посетил Освенцим, злокозненный комендант Гесс решил подразнить большого начальника и напугать его местными зрелищами. И тут Эйхман дрогнул. Да что там Эйхман! Даже Гиммлеру стало не по себе – у него затряслись поджилки.

Наверное, точно также растерялся бы директор большого металлургического завода, если бы у него на глазах в цеху произошел несчастный случай. Но то, что происходило в Освенциме, конечно, не было несчастным случаем: просто рутинная, неприятная, будничная работа. Должен же кто-то взять на себя бремя скучной повседневной работы на благо Отечества. Да, приходится терпеть неудобства и даже отвращение от неприятных картин и звуков. Все происходит под лозунгами долга, жертвы и послушания. Эйхман был предан долгу и гордился своей работой.

Душевное здоровье Эйхмана внушает тревогу. Для нас душевное здоровье означает чувство справедливости, гуманность, благоразумие, способность любить и понимать других людей. Мы полагаемся на нормальных людей мира, которые уберегут

этот мир от варварства, безумия, разрушения. Только теперь мы начинаем понимать, что «нормальные» – самые опасные из всех.

Здоровые, хорошо приспособленные, способны без сомнений и отвращения направить в цель ракету и нажать на кнопку, которая развяжет великую вакханалию разрушения, которую подготовили они, нормальные люди. Отчего мы так уверены в том, что опасность исходит от психов, получивших возможность сделать первый выстрел в ядерной войне? Мы опасаемся психически больных. Здоровые будут удерживать их от кнопки. Никто не опасается нормальных, здоровых, у которых найдутся превосходные, логически обоснованные причины для того, чтобы выстрелить. Они будут подчиняться здравым приказам, спущенным сверху. И именно потому, что они душевно здоровы, их не будут терзать сомнения и тревоги. Когда ракеты полетят, они будут бить без промаха. Отныне мы не можем сказать, что если человек «психически здоров», значит, он в «здравом уме».

Само понятие психической нормы в обществе, где духовные ценности утратили всякое значение, не имеет никакого смысла. Человек может быть психически здоровым в узком смысле слова, то есть бурные эмоции не мешают ему действовать спокойно и хладнокровно под давлением общественной ситуации, в которой он оказался. Он может отлично «приладиться, приспособиться». Возможно, такие люди могут отлично «приспособиться» даже к аду.

«Так что же такое психическая норма, – спрашиваю я, – если она исключает или обесценивает любовь, если она мешает нам любить других людей, откликаться на их нужды и страдания, видеть в них личностей, воспринимать их боль как свою собственную?»

Это религиозное, духовное, христианское понятие. Можем ли мы ставить знак равенства между «душевным здоровьем» и «христианством»? Разумеется, нет. Худшая ошибка – воображать, что христианин должен пытаться быть «здоровым», как все остальные, что мы неотделимы от нашего общества. Что мы должны относиться к нему «реалистически». Должны развивать нормаль-

ное христианство: и в прошлом было множество психически нормальных христиан. В пытках нет ничего нового, не так ли? Мы должны рационально отнестись к «промыыванию мозгов», к геноциду и найти в нашем нравственном богословии место для ядерной войны или, по крайней мере, для напалмовых бомб. Конечно, некоторые из нас уже делают все возможное для этого. Мы возлагаем на них надежды! Даже христиане могут отбросить сентиментальные предрассудки, то бишь милосердие, и стать нормальными, как Эйхман. Они даже могут придерживаться определенного свода христианских формул и приспособить их к тоталитарной идеологии. Пусть себе болтают о справедливости, милосердии, любви и прочем. Эти слова не остановили нормальных людей от здорового и разумного поведения в прошлом... Да, Эйхман был психически нормален. Генералы и бойцы, сражавшиеся друг с другом во Второй мировой войне, стершие с лица земли целые города, были психически здоровы. Те, кто изобретали и делали атомные и термоядерные бомбы и ракеты, разрабатывали стратегию будущей войны, оценивали возможности использования бактериологического и химического оружия, не сумасшедшие, не безумцы, они нормальные люди.

Полагаю, что у тех, кто хладнокровно оценивает, сколько миллионов человек можно пустить в расход в ядерной войне, с пятнами Роршаха все в порядке. С другой стороны, кто-то может сказать, что пацифисты и борцы против ядерной бомбы, в самом деле, немного чокнутые, как пишут в Тайме. Я прихожу к мысли, что «нормальность» перестает быть ценностью и самоцелью. «Нормальность, здоровая психика» современного человека также полезна для него, как огромная масса и мускулы для динозавра. Если бы он был чуть менее здоровым, немного сомневался и больше сознавал нелепости и противоречия своей натуры, он скорее бы выжил. Но если он психически здоров, даже чересчур здоров... можно предположить, что в обществе, подобном нашему, худшее безумие – быть абсолютно невозможным, абсолютно «душевно здоровым».

Raids On The Unspeakable

МАКАРИЙ И ЛОШАДЬ⁴

У людей, живущих
На краю пустыни,
Была маленькая дочка.
Как-то раз им примерещилось, что чародеи
Превратили ее в лошадку.

Поначалу родители ее бранили:
«И зачем ты стала лошадкой?»
А она не знала, что ответить.

Тогда, набросив ей на шею уздечку,
повели они ее в пустыню,
где в своей убогой келье
жил святой отшельник
по имени Макарий.

«Отче, – сказали они старцу, –
Эта молодая кобылка
Когда-то была нашей дочкой.
Недруги, нечестивцы, чародеи
Превратили бедное создание
В зверя, коего ты видишь.
Ты один молитвами своими
Можешь ей вернуть прежний облик».

«Молитвы мои, – молвил Макарий, –
Ничего не изменят, ибо
Никакой кобылицы я не вижу.
И зачем свое дивное чадо
Называете вы зверем?»

4 Из сб.: *Merton T. "Emblems of a Season of Fury"*, New York, New Directions, 1963. Стихотворение основано на рассказе, взятом из книги Руфина Аквилейского «Жизнь пустынных отцов». Гл. 28. В русском переводе: Жизнь пустынных отцов. Творение пресвитера Руфина. / Пер. М. И. Хитрова. Сергиев Посад, 1898. XLIV, (переизд.: Загорск, 1991; М., 1997, 2002.)

Вместе с родителями девицу
Повел он к себе в келью
И, помазав ее елеем,
Обратился с молитвой к Богу.
И увидев, с какой любовью
Положил он ей руку на темя,
Они тотчас уразумели,
Что она никакая не лошадь,
Что она не меняла обличья,
А всегда оставалась девицей.

И тогда сказал им Макарий:
«Худший ваш враг – дурное око,
И корявые ваши мысли
(вразумлял их святой отшельник)
Превращают родных и близких
В птиц и зверей бездушных.
Ваша собственная злая воля
(обличал ясновидящий старец)
Призраками мир населяет».

МАКАРИЙ МЛАДШИЙ

1.

Жил он в скиту
Посреди огромной пустыни,
Куда из монастыря в Нитрии
Целый день ходу.

Не ведут в эту пустынь
Ни дороги, ни тропы,
Ни межевые знаки.
Нужно идти в нее по звездам.

Вода там – большая редкость,
Скверно пахнет дегтем,
Но для питья пригодна.

Несколько отшельников живут там
Поодаль друг от друга –
Истинные угодники Божьи.
Выдержать такое могут
Только те, кто решился на подвиг.

Они горят любовью друг к другу
И ко всем, кто сюда добраться может.
Если какой странник
Достигнет пустыни,
О нем позаботятся братья:
Тот, кто пройдет пустошь,
Имеет нужду во многом.

2.

Однажды Макарию в скит
Кто-то принес гроздь винограда.
Он, позабыв о своей жажде,
Отнес ее другому отшельнику,
Страждущему от болезни.
Тот радостно возблагодарил Бога
За Его любовь и щедрость
И отнес виноград другому брату.

Так гроздья переходили из кельи в келью
По всей пустыне,
И никто не знал, откуда они взялись.

Пока один отшельник не пришел к Макарию с плодами.
И промолвил: «Вот плоды, отче,
Возьми их, и освежат тебя своей влагой».

Тогда возрадовался Макарий,
Увидев, как добры его братья,
Укрывшиеся от мира в пустыне.

3.

Два Макария угодника Божьих,
Желая проведать брата,
Поплыли на веслах через реку.
Вместе с ними плыли легионеры,
лошади, телохранители, дети.

Один трибун увидел монахов,
Валявшихся, как мешки, на корме в лохмотьях,
Свободных, ничем не обремененных.

«Вы, – сказал он, – счастливы.
Смеетесь над жизнью. Ничего не хотите от мира,
Кроме своих отрепьев да корки хлеба».

А один из Макариев ответил:
«Мы и впрямь идем путем Божиим,
Смеемся над жизнью,
И нам жаль, что жизнь смеется над вами».

Тогда начальник взглянул на себя трезво,
Роздал все, что у него было,
И записался в армию пустыни.

МОЕМУ БРАТУ, ПОГИБШЕМУ В 1943

Мой нежный брат, мои бессонные глаза
Цветами будут для твоей могилы,
И если хлеб свой не могу вкушать,
Мой пост над ней пусть прорастет, как ива.
И если жажду мне не утолить,
Пусть забьет родник из этой жажды.
В какой земле под задымленным небом
Теперь лежит затерянный твой прах?
Скажи, в каком трагическом пейзаже
С дороги сбился твой несчастный дух?
В трудах моих найди себе надгробье,
В мои страдания голову склони,
И кровь, и жизнь мою возьми себе,
Чтоб ложе лучшее купить взамен.
Дыхание мое и даже смерть
Возьми и обрети упокоенье.
Когда в боях все воины падут
И обратятся в пыль знамена,
Пусть возвещают наших два креста,
Что умер Бог на них за нас обоих.
Среди обломков твоего апреля
Оплакивает Он мою весну,
И в одинокую твою ладонь
Роняет золотые слитки слез. –
То выкуп за тебя родной земле.
И над твоей могилой безымянной
Безмолвные, невидимые слезы
Струятся, словно колокольный звон.
Они зовут тебя домой вернуться.

В МОЛЧАНИИ

Не шелохнувшись,
слушай камни стен.
Храни молчание, пока они
Произнести
Твое стремятся имя.

К живым прислушивайся стенам.
Кто ты?
Кто, в самом деле, ты?
И чье молчание собою выражаешь?

Кто (будь спокоен)
Ты (раз эти камни
незыблемы). Не помышляй
О том, кто ты такой.
И еще меньше –
о том, кем можешь стать когда-нибудь.
Скорее
Будь тем, кто ты и есть (но кто же?)
Будь кем-то невообразимым,
Тем, кого и сам не знаешь.

Будь тих, пока еще ты жив,
И все предметы вокруг тебя живут
И говорят (хоть я, увы, не слышу)
С тобой, с твоим существованием,

На языке неведомого,
Того, что есть в тебе и в них самих.

«Я попытаюсь, как они,
Быть собственным моим молчаньем:
Хоть это нелегко. Весь мир

Охвачен пламенем, и камни
Горят и обжигают.
Как можно быть спокойным
Или внимать всему, что полыхает?
Как смеет человек
Быть подле них, когда
Все их молчание
Охвачено огнем?

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Когда во тьме ночной трещат от стужи окна,
И дети, пробудившись, что-то шепчут,
И кажется, что лунный свет скрипит
По льду реки, как санные полозья,

И звезды, словно лезвие ножа,
Лучами зеркало пруда пронзают,
И, как замерзшая вода, деревья
Ждут вспышки света и посланья свыше.

Но далеко еще до Рождества,
Когда хрупка и, как они, невинна,
Запела нежно за окном звезда,
И ранний свет Адвента
Уже блестит на ледяных ступенях,
И дети покровителям святым
На сон грядущий пишут поздравленья.
Неужто ни певцов, ни струн в ночи не будет?
Никто со свадьбы не идет, нет вестника от Жениха?
(И девы сонные встают, чтобы светильники зажечь).
Скользнет внезапно лунный луч по льду,
Как звук шагов, а звездный свет в саду
Тихонько дзинькает, что твой дверной замок,
И дети вновь спросонья что-то шепчут
И ангелов-хранителей зовут.

1944

ПСАЛОМ

Когда меня пленяет музыка псалмов
И антифоны терпкие пьянят,
Мой дух поет, моя душа бездонна,
Тогда сама Любовь сильнее, чем гром,
Мне отверзает небо в келье.

На все гляжу я новыми глазами
И шлю любви крылатой имя в мир.
Вокруг меня растут, как джунгли, песни,
И хор творенья распевает гимны,
Которые Дух Божий пел в Раю.

Птиц райских стаи, зебры, антилопы
На лике бездны сумрачной блистают,
Я опьянен бескрайнею пустыней
Шестого дня творенья.

Но звук прекраснее всего тогда,
Когда музыка превратилась в песню
И вся изнемогает в совершенстве.
А солнце, звезды и луна
Летят с их горних башен вниз,
Но радость и веселье не ступают
На синий берег мира.

Огни погасли, отблески кружат
По воздуху ночному над заливом.
Все в страхе, что нагрянет новый гром.
Тогда еще один незримый голос
Одним порывом гасит всякий свет.

Я отправляюсь в путь: нет ни вина, ни звезд,
Ни клейких почек, ни Эдема,
Ни моря синего, ни зверя,
И в бездне ночи лишь Господь поет,
И стены падают, что охраняли рай.

1949

ПУШКИ У ФОРТА НОКС

Пушки на базе (внезапно их слышу)
Сотрясают дома. Чую
Взрывы у ног моих сквозь половицы.
Войны орудуют в подполе. Войны
Пляшут в фундаментах. Деревья
Тоже должны ощущать нежеланный грохот
Пушек даже в своей сердцевине.
Когда снаряд ударяет в потрясенную землю,
Они дрожат от корня и выше.

Так сотрясайте холмы, пушки,
И без того шаткие,
Китайские холмы с глинистым подножьем,
Держащиеся на собственном сланце,
Перемещают подножья в крошащемся камне.

Такие руины не могут
Удержать армии мертвых
От новой мобилизации. Они услышат
Эти пушки сегодня ночью
Завтра или в иное время.
Они воспрянут, они воскреснут
И потрясенный камень отвалит.
Они сформируют полки и снова
Устроят бойню.

Пушки, я вам говорю: «Это –
Неправильное Воскресенье.
Вы целый день
Бьете по вратам смерти,
Чтобы разбудить убитое поколение.

Пусть лежат смирно. Пусть спят,
О, пушки. Больше не сотрясайте
Врата ада.
Поставьте на них замки покрепче».

1957

ПЕСНЯ МАЯ

Май настал, и мы заблудились
В солнечном свете, в вереске,
В густом мху и в листьях.

Твоя синяя юбка промокла
От талого снега
И сотерна.

Мы обсыхаем на солнце.
Ты пересказываешь фильм,
Который я никогда не видел.
Лес наполняют нежные звуки,
Птицы поют
О том, что мы заблудились
В той части леса,
Где никакой пейзаж
Не обманет зренья,
Где все зыбко.

Забытые слова стихов звучат,
И в твоём чутком сердце
Находят отклик, оживают вновь.
Дай мне прилечь в лесном раю,
В шатре твоих волос благоуханных
Под пологом твоих ресниц.
Твой мудрый долгий взгляд
Меня находит вновь,
Как будто волосы струятся с неба
И медленно нисходят вниз на землю,
Чтобы навек меня зарыть
В любви горячей
В недрах леса.

Здесь мы вкушаем сотворенье жизни
В той влажной точке,
Где сердце подпрыгивает
И трепещет
Рядом с твоим сердцем-птицей,
Бьющим крылами
В ласковом абрисе губ.

Мы заблудились в майском
Нежданном свете,
Мы тонем друг в друге.
Можешь ли, дорогая,
Еще дышать? В отчаянье
Прижимаюсь к округлым бедрам
И плачу.

Сдай мне внаем во имя Высшей любви
Спасательную шлюпку
Твоего тела
И тело мое спаси, чтобы я не погиб
В идеальном солнце,
И остуди меня – я сокрушен
Безмерным его совершенством.

Май на дворе,
Мы плачем от любви
В стране стволов,
В лесу несовершенном.
Ты – одинокая ладья,
Неси меня,
Пересекая море и вино.
Ты – крепкая и маленькая шлюпка,
Дай мне мое дитя.

ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ МОНАХОВ

1

Монах должен сидеть за столом с собственной чашкой и ложкой,

И собственным покаянием. Его дело должно быть для него наиважнейшим и стать для него снадобьем.

Они пренебрегли миской и тарелкой.

Есть ли у тебя деревянная вилка?

Да, у каждого монаха есть деревянная вилка и картофель.

2

Каждый должен утереть слезы своим святым, когда три колокола предвещают жаркий полдень. Каждый должен наблюдать за собственным сердцем и совестью днем и ночью.

Еще один поворот колеса: ну и шум! И обращать внимание на настоятеля!

Пора идти спать на соломенной подстилке.

3

Хлеб в изобилии для каждого между молитвами и псалмами:

Будешь читать другие?

Благодарю и Помилуй меня, Боже.

Помни всегда о часах и о настоятеле до скончания века.

Помилуй меня.

4

Все подробности Устава прозрачные и твердые. Какое первое предписание для нас? Помни о ступеньке, спускаясь вниз!

Да, осмелюсь сказать, ты прав, Отче. Верю тебе, верю.

Верю, что им проще, когда у них есть ледяная вода и даже лимон.

Каждый может сидеть за столом со своим лимоном и разбираться со своей совестью.

5

Согласны ли мы в том, что параграф о лимоне соответствует предписаниям?

Лучше овцы, чем павлины, и коровы, чем связанный леопард, – говорит скромность в одной притче.

Монастырь, владеющий общей лодкой, – это преддверье рая. И этого, несомненно, достаточно.

6

После Вечерни в жаркий полдень каждый может омыться дождем, но не *quid nimis*⁵, иначе цель Ордена будет забыта.

Всем, что производят в монастыре, можно любоваться и все продавать за бесценок.

Выпечка чудно пахнет. На каждом листочке – печать Божья, которую никто не замечает. В саду растут плодовые деревья – собирайте яблоки в корзинку.

В Кентукки также есть хранилище для сыров.

Каждый должен складывать свою салфетку и не обращать внимания на чужие.

7

Ночью дождь не слышен под сводами чудных соборов.

Да, я позаботился о светильнике. Помилуй меня, Боже.

Есть у тебя святой покровитель и ангел?

Благодарю. Хотя ночи не опасны, у меня есть все.

5 не чересчур (лат.)

**ПУТЬ В БЕЗДНУ
(ИОНА, 2 ГЛАВА)**

Я спустился в пещеру,
На дно морское,
Глубже, чем Иона и кит,
Я дошел до самого края бездны,
Куда всем смертным
Путь закрыт.

Я спустился глубже
Алмазных копей,
Алмазных залежей
В Кимберли,
И мне почудилось,
Что я дьявол,
Достигший самого
Центра земли.

И когда все подумали,
Что я сгинул,
Сошел навеки
В ад земной,
Я вновь вернулся
В брненное тело
И зазвонил в колокол мой.

Как бы со мною ни поступили,
В какой бы я ни погиб стране,
Какое бы зло мне ни причинили,
Корень веры открылся мне.

Я видел истоки
Жизни и смерти
И в тайную кузницу
Войн проник,
Я видел утробу,
Откуда все вышли,
И сокровенных глубин достиг!

И когда все подумали,
Что я сгинул,
Сошел навеки
В ад земной,
Я в брренное тело
Свое вернулся
И зазвонил в колокол мой.

ЧТЕЦ

Господи, когда бьют часы,
Отмеряя время холодной стрелкой,
Я сижу в капюшоне за аналогом.

Ожидаю прихода монахов.
Вижу красные сыры и чаши
с молоком, сияющим на столах.

Свет наполняет мой светильник
(Я отвоевал свет, чтобы читать
С маленькой звенящей цепью).

Монахи спускаются вниз, под своды
В одеяниях, струящихся, словно воды.
Я их не вижу, но слышу шорох.

Зима настала, рука готова
Перевернуть страницу месяцеслова.
Буду читать Твое Писанье
Узорам, начертанным луной на окнах.

Я – за аналогом, Ты
на Своем Кресте распят.
Монахи останавливаются на пороге
И кончиками пальцев собирают капли
освященной воды,
крошечные, как стих моего псалма.

БИОГРАФИЯ

Суровая поэзия бичей,
Прочти ее ужасные пометки:
«По стенам Кембриджа стекает кровь
Бессмысленная, словно ручеек,
Покуда чернь и всякое отребье
Бросает жребий о Его одежде».
Пусть жизнь моя нанесена на Тело
Христово, словно карта,
И гвозди отпечатали в запястьях
Не просто имена грехов,
Не просто города и страны, –
Названья улиц, номера домов,
Весь перечень ночей и дней,
Когда я убивал Его повсюду –
На улицах и стогнах городских.
Копье и терн, бичи и гвозди превратили
Плоть Бога в летопись мою.
И странствия мои язвят
Иисуса окровавленные ноги.
Я с колыбели знал Тебя повсюду
И, согрешая, пребывал с Тобой
И знал, что ты – мой мир:
Ты – Франция и Англия моя,
Америка и все моря на свете:
Ты – жизнью был и воздухом моим,
И все же я Тобою не владею.
Когда любил Тебя и ненавидел,
Любя и все же отрекаясь от Тебя
В сиянье славы всей Твоей вселенной.

Не воздух и не землю, а Твою
Живую плоть топтал и рвал на части.
И если мы Тебя в творении познали,

То всякий грех становится кощунством,
А жадность – святотатством,
Клеймом, позорящим Причастье.
И все же каждой раною Своей
Ты избавлял меня от преступленья,
И каждый мой удар оплачен Кровью,
За каждый грех мой Ты воздавал мне благодатью.
И даже если убивал Тебя я,
Ты превзошел разбойников двоих,
Распятых некогда с Тобою рядом.
Похитив у меня мои грехи
Своею умирающею жизнью,
Ты отнял все – и даже смерть мою.

Не спрашиваю, на каком кресте
Меня постигнет смертное мученье.
Оно написано и совершилось здесь,
На каждом алтаре или Распятье.
Рассказ мой тонет и забыт
В Твоих пяти открытых ранах,
И голос Твой кричит мое: «Свершилось».
И если на Твоем кресте сольется
Твоя святая жизнь и смерть с моею,
Сама Любовь меня читать научит
Всю новую историю в Тебе.
Я мысленно переношусь назад,
В другое детство,
Меняю свой Нью-Йорк и Кубу
На Галилею бедную Твою,
И Кембридж свой на древний Назарет.
Пока не возвращусь в свое начало,
Где отыщу звезду, солому, ясли,
Волов и бедных пастухов,
И, наконец, постигну, что родился
Я не во Франции, а в Вифлееме.

1946

**ПЕСНЬ О СМЕРТИ АВЕРРОЭСА
(ИЗ ИБН АЛЬ АРАБИ,
ИСПАНСКАЯ ВЕРСИЯ АСИНА ПАЛАСИОСА)**

I

Однажды отец отправил меня с поручением в дом своего друга Аверроэса, одного из городских кадиев⁶, мудрого Аверроэса, сына Аристотеля.

Аверроэс выразил желание увидеть меня и узнать, действительно ли Бог говорил со мной в уединении.

Я пришел в дом Аверроэса в Кордове. В ту пору я был так молод, что у меня еще не росла борода, но Бог, действительно, говорил со мной.

Когда я вошел в дом Аверроэса и достиг покоев, где он был погружен в свои размышления,

Он встал и пошел мне навстречу с любовью и уважением.

Обнял меня и произнес вопросительным тоном: «Да?»

Я ответил: «Да».

Он обрадовался моему ответу,
Увидев, что я сразу же его понял.

Но я понял причину его радости и тотчас сказал: «Нет».

Ибо я его понял, а он меня нет.

Тогда Аверроэса охватила печаль. Он побледнел
И сразу же начал сомневаться.
Истина его собственного учения была поставлена под сомнение.

6 Духовное лицо у мусульман, выполняющее обязанности судьи.

Тогда он спросил меня: «Значит, ты узнал ответ, но как?
Посредством Духа? Или Его Света? И что это был за ответ?
Может быть, ответ тот же, который мы получили с помощью
рассуждений?»

Я ответил: «И да, и нет».

Между «да» и «нет» дух отделяется от материи,

Между «да» и «нет»

Живой позвоночник отделяется от плоти!»

Тогда Аверроэс побледнел и, охваченный страхом, уселся
на место.

Казалось, поняв смысл моего иносказания, он впал
в столбняк.

II

Аверроэс, знаменитый философ, посвятивший всю жизнь раз-
мышлениям, учению и рациональному познанию, не мог

не возблагодарить Бога за то, что ему было дано увидеть че-
ловека, который, сам того не ведая, вошел в святилище Духа и
вышел оттуда, как сам Аверроэс,

Только без всякого образования, учения, книг и учителя.

Поэтому он воскликнул: «Перед нами духовный уровень, су-
ществование которого мы долго отстаивали с помощью рацио-
нальных доказательств, не зная при этом никого, у кого был по-
добный опыт».

«Восхвалим же Господа, который сподобил нас жить в одно
время с человеком, наделенным мистическими дарами, способ-
ного войти в Его чертог, и слава Ему за то, что даровал мне приви-
легию увидеть такого человека своими глазами».

Я хотел встретиться с Аверроэсом снова, и Господь позволил мне увидеть его, когда он находился в экстазе. Но нас разделяла тончайшая завеса, сквозь которую я мог наблюдать за ним, в кто время, как он меня не видел и не мог знать, где я находился.

Он был погружен в глубокую задумчивость и предавался размышлениям.

Я сказал: «Значит, это правда. Нет пути, по которому его можно привести туда, где находимся мы, все остальные люди».

III

Больше я Аверроэса не видел до самой его смерти.

Он умер в 595 году в Марокко и был торжественно перенесен в Кордову. Там находится его гробница, где он ныне покоится.

Когда прах Аверроэса перенесли в Испанию, жители Кордовы собрались, чтобы посмотреть, как он вернулся в город погребения.

Гроб с его останками водрузили по одну сторону вьючного животного, а на другой стороне в качестве противовеса привязали книги, которые он написал.

Я был на похоронах вместе с ученым Бенхобаром и одним из моих учеников, переписчиком Беназзарахом.

Обратившись к нам, молодой ученик сказал: «Видите, что стало противовесом великому учителю Аверроэсу? С одной стороны – учитель, а с другой стороны – его труды, книги, которые он написал!»

Тогда Бенхобар объяснил: «Нет нужды, сын мой, указывать на то, что и так очевидно! Да будет благословен твой язык, произнесший слова сии!»

Я записал слова ученика и отложил их для медитации, как напоминание об этом событии.

В этих словах содержался ключ к этому событию, семя правды, открывшейся ученику во время погребения Аверроэса.

Я принял семя, сочинив два стиха:

«По одну сторону – Учитель, по другую – его книги.

Исполнились ли, наконец, его желания?»

Нас было трое, мы стояли и смотрели, как останки Аверроэса перенесли в Кордову.

Из этих троих человек двоих уже нет в живых. Да простит их Господь!

ЧТЕНИЯ ИЗ ИБН АББАДА

2. Могила Ибн Аббада

Его похоронили в пустом имении, ибо он был странником
И не построил себе гробницы ни в одном городе.
Через несколько лет стена упала,
Но позднее градоправитель
Построил святому маленькую усыпальницу,
Доверив попечение о ней секретарю:
Собирать приношения, оставленные людьми,
И отдавать их семье святого.

А в это время гильдия сапожников
Сделала его своим покровителем. Каждый год
В день его смерти в июне
Они торжественно приходили на всенощное бдение
С факелами, чтениями и песнопеньями,
Ибо при его жизни
Святой был их другом.
Он сидел в их лавках, беседовал с ними.
Молился за подмастерьев,
Чтобы спасти их от острого шила
И огромных иголок.
Часто в мечети
Он направлял сапожников в молитве.
А ныне его забыли.

5. Принадлежать Аллаху

Принадлежать Аллаху – значит
Видеть в своем существованье,
во всем, что к нему относится,
То, что не твое
И не от тебя,

То, что ты получил взаймы;
Видеть свое существование в Его Существование,
Свое довольство в Его довольстве,
Свою силу в Его Силе:
Тем самым признавать
Его звание и право господина
владеть тобою
И собственное звание раба,
который есть Ничто.

7. Послушнику

Избегай трех видов наставников:
Тех, кто ценит только себя,
Ибо их самооценка всегда слепа.
Тех, кто ценит лишь новизну,
Ибо их мнения лишены смысла;
Тех, кто ценит лишь то, что доказано,
Их разум – кусочек льда, не боле.

Все эти трое
Омрачают твой внутренний свет
Сложными доводами
И ненавистью к суфизму.

Тот, кто находит Аллаха,
Ни в чем не нуждается.
Тот, кто Аллаха теряет,
Ничего не имеет.

Ищущий Аллаха омоется скорбями,
Сердце его станет чище,
Скорбь сильней обостряет совесть,
Чем все посты и молитвы.
Пост и молитва не избавляют

От самолюбия, могут быть даже
Усладой, выражением скрытого греха,
Разрушающего всю их ценность.
Но скорбь вырывает грех с корнем.

8. Послушнику

Будь сыном данного мига:
Он послан Аллахом.
Лучший посланник –
Тот, кто возвещает твою бедность,
Твою ничтожность.
Будь сыном этой минуты,
Благодари Аллаха
За пригоршню праха.

9. Послушнику

Глупец – тот, кто
Стремится каждое мгновение получать
Результат,
Не предусмотренный Аллахом.

ИЗ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ
ЧЖУАН-ЦЗЫ «РАДОСТЬ РЫБ»

Чжуан-цзы и Хуэй-цзы
Переходили реку Хао.

Чжуан промолвил:
«Смотри, как вольно
Прыгают рыбы и в воде резвятся. –
Вот где их подлинное счастье».
Хуэй ответил:
«Ты не рыба,
Откуда ты знаешь,
В чем их счастье?»

Чжуан парировал:
«А ты не я,
Как же ты можешь знать,
Что мне неизвестно то,
что составляет счастье рыб?»
Хуэй настаивал и спорил:
«Если я, не будучи тобой,
Не могу знать то, что знаешь ты,
Значит и ты,
Не будучи рыбой,
Не можешь знать то, что знают они».

Чжуан ответил:
«Постой, приятель!
Давай вернемся к изначальному вопросу.
Ты спросил меня: «Откуда ты знаешь,
В чем этих рыб подлинное счастье?»
Судя по твоему вопросу,
ты, очевидно, знаешь, что я знаю,
в чем заключается их счастье.

Радость рыб, в воде живущих,
Я познаю через собственную радость,
которую испытываю, когда с тобою
иду вдоль этой самой речки».

МЕДИТАЦИИ И МОЛИТВЫ

ИСКРЕННОСТЬ

Говоря правду, мы становимся реальными. Человек не может забыть, что ему необходимо знать правду, ибо не может заглушить инстинкт познания – он слишком силен в нас. Но он может забыть, как важно для него говорить правду. Мы не познаем истину, пока не начнем жить, сообразуясь с ней.

Чтобы узнать правду, которая находится вне нас, мы должны быть правдивыми внутри себя, честными сами с собой. Мы честны сами с собой, когда раскрываем другим истину так, как мы ее поняли.

Люди восхищаются искренностью не ради правды, которую она обеспечивает, а просто потому, что это хорошее качество. Им нравится быть искренними не потому, что они любят правду, а потому, что люди будут любить их, если они будут казаться искренними.

Мы слишком похожи на Пилата. Мы все время спрашиваем: «Что есть истина?», а потом распинаем эту истину, стоящую перед нами.

Но раз уж мы задали вопрос, давайте на него ответим.

Если я спрашиваю, что есть истина, я либо жду ответа на вопрос, либо не жду его. Пилат не ждал. Однако его вера в то, что вопрос не имел ответа, сама по себе была ответом. Он думал, что на этот вопрос ответить нельзя. Иными словами, он полагал справедливым, что исчерпывающего ответа на вопрос «Что есть истина?» не существует. Если он считал, что истина не существует, значит, он отвергал собственное утверждение. То есть, даже от-

рекаясь от истины, Пилат признавал потребность в ней. Ни один человек так или иначе не может избежать того же, потому что мы неизбежно нуждаемся в истине, в правде.

Так что же такое правда, истина?

Правда вещей – это их реальность. Это соответствие нашего знания известным нам вещам. Правда наших слов означает соответствие их тому, что мы думаем. Правда нашего поведения – это соответствие наших действий тому, чего от нас ждут люди.

Примечательно, что человечество, горящее желанием познать, как все устроено, многое открыло, но до сих пор не знает, существует ли истина!

Объективная истина – это реальность, которую можно найти как внутри, так и вне нас, и с которой можно сообразовать наше сознание. Мы должны знать истину и выражать ее в своих словах и делах.

Мы не должны раскрывать все, что знаем, ибо есть многое, что мы обязаны сохранить в тайне. Но есть и то, что нужно обнародовать, хотя другим это может быть известно.

Мы должны принести дань уважения окружающей нас реальности, мы обязаны в должное время называть вещи своими именами и открывать наши мысли о них окружающим нас людям.

То, что люди постоянно разговаривают, неопровержимо доказывает, что они нуждаются в истине и взаимных свидетельствах, необходимых для того, чтобы истина созрела и утвердилась в их сознании.

Но тот факт, что люди так много болтают о пустяках или повторяют друг другу чужие выдумки, тратят время на скандалы,

злословие, клевету, непристойности и насмешки показывает, что наш ум искажен своеобразным презрением к реальности. Вместо того, чтобы самим приспособиться к ней, мы искажаем все вокруг своими словами и мыслями, чтобы приспособить реальность к нашему искаженному сознанию.

Это искажение коренится в нашей воле. Мы еще способны говорить правду, но все больше и больше утрачиваем желание жить в соответствии с ней. Наша воля слепа, потому что отказывается принять законы нашего существования: она не может действовать в согласии с реальностью. Наша воля погружена в ложные ценности и увлекла за собой и наш ум, а наш неугомонный язык раз за разом доказывает, что в нашей душе нет порядка. «А язык укротить никто из людей не может: это неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию...

Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода (Иак 3:8 – 11).

Искренность в полном смысле слова должна быть чем-то большим, нежели стремление быть честным с самим собой. Это простота духа, которая оберегается волей к правде. Она подразумевает обязанность говорить правду и отстаивать ее. А это в свою очередь означает, что мы вольны чтить правду или не чтить ее, и что правда до некоторой степени в нашей власти. И это огромная ответственность, потому что оскверняя правду, мы оскверняем наши души.

Искренность в высшем смысле – божественный дар, ясность духа, возникающая под воздействием благодати. Пока мы не стали «новым человеком», сотворенным по образу Божьему «в праведности и святости истины» (Еф 4:24), мы не можем избежать

лжи и двоедушия, ставших инстинктивными для нашей природы, «истлевающей в обольстительных похотях» (Еф 4:22).

Поэтому искренний человек по данной ему благодати знает, что он может быть инстинктивно неискренним и даже его природная искренность может стать прикрытием для безответственности и моральной трусости: словно достаточно признать истину и на этом остановиться.

Как же получилось, что наше привыкшее к комфорту общество перестало понимать, как важна правда? Жизнь стала столь удобной, что нам кажется, будто мы можем обойтись без правды. Лжец больше не чувствует, что ложь может довести его до голода. Если бы жизнь была более опасной, и человеку, которому нельзя доверять, было труднее ладить с другими людьми, мы бы не обманывали себя и друг друга с такой легкостью.

Но весь мир научился смеяться над правдой или проходить мимо нее. Половина цивилизованного мира существует за счет лжи. Реклама, пропаганда и другие формы публичности, занявшие место правды, приучили людей к тому, что они могут говорить другим что угодно, лишь бы звучало правдиво и вызывало хоть малейший эмоциональный отклик.

Американцам всегда казалось, что их изощренный ум ограждает их от рекламы. Какая наивность! Искушенный ум ни от чего нас не ограждает. Нам нравится то, над чем мы делаем вид, что смеемся. Мы скорее купим плохую, но хорошо разрекламированную зубную пасту, чем хорошую, но не получившую никакой рекламы. Большинство американцев не хотело бы разбиться в автомобиле, о котором не знают их соседи.

Искренность становится невозможной в мире, где царит фальшь, а миру кажется, что он достаточно умен, чтобы ее распознать. Пропаганда постоянно демонстрирует презрение к

фальши, но презирая ее, мы невольно начинаем ее любить. В конце концов, мы не можем без нее обходиться.

Это двоемыслие очень характерно для греховного состояния, от которого человек не в силах освободиться: он любит то, что должен бы ненавидеть.

Ваше представление обо мне складывается из сведений, которые вы почерпнули у других людей и у себя. Что вы думаете обо мне, зависит от того, что вы думаете о себе. Возможно, ваше представление обо мне – отражение того, что другие люди думают о вас. Или возможно то, что вы думаете обо мне, – ваше представление о том, что я, как вам кажется, думаю о вас.

Требуется больше мужества, чем мы себе представляем, чтобы быть до конца искренними с другими людьми. Нашу честность часто портит скрытая бесчеловечность, порожденная страхом.

Фальшивая искренность много говорит, потому что боится. Истинное чистосердечие может позволить себе быть молчаливым. Оно не боится нападок. Все, что ему придется защищать, можно защитить с предельной простотой.

Доводы верующих часто бывают неискренними, и их неискренность пропорциональна их злости или раздражению. Но почему мы сердимся на то, во что верим? Потому что на самом деле мы в это не верим. Или делаем вид, что защищаем «правду», а по сути -- самоутверждаемся. Искренний человек не столько стремится отстоять истину, сколько желает ее выразить, так как считает, что правда сама о себе позаботится, если будет отчетливо видна.

Вероятно, худший враг искренности – страх. Сколько людей боятся следовать зову совести, потому что предпочитают приспосабливаться к мнению других людей, нежели к правде, кото-

рую знают сердцем. Как я могу быть искренним, если постоянно меняю мнение, чтобы соответствовать тому, чего от меня ждут другие? Они не имеют права требовать от меня, чтобы я был кем-то еще, кроме того, кем я должен быть в глазах Божьих. Вероятно, ничего большего нельзя требовать от человека. То единственное, что я обязан исполнить, – это именно то, чего они от меня не ждут. Я должен быть тем, кто я есть в их глазах, то есть продолжением их самих. Они не понимают, что если я полностью соответствую себе, моя жизнь станет исполнением и завершением их жизни, но если я буду их тенью, то буду лишь служить напоминанием об их собственном несовершенстве.

Если я позволю себе опуститься до существа, которого от меня ждут другие люди, Господь скажет мне: «Я не знаю тебя!»

Благодатная честность не удержится в упорной и своевольной душе. Страсть будет все время возмущать ее ясные глубины, если только мы окончательно ее не умирим. Но это не удавалось даже святым.

Ветер, поднимающий рябь на поверхности озера, не касается его глубины. Страсть не вредит искренности, когда мы ее терпеливо выносим, не отдаваясь ей.

Своеволие опасно для искренности, когда мы ему не противимся, и совершенно губительно, когда мы в нем умиротворяемся.

Чем духовнее насилие, чем меньше в нем чувства, тем оно опаснее. Действуя в глубинах воли и никак не проявляясь вовне, оно без всякой борьбы поработачивает нас. При этом наши чувства остаются мирными, мы даже можем переживать восторг. Но глубокий мир души разрушен, потому что образ истины искажен бунтом. Таково насилие гордости, не встречающей сопротивления.

Есть только один род насилия, с помощью которого овладевают Царством Небесным. Это принуждение благодати, которое, на самом деле, есть порядок и мир. Оно низводит в душу глубокий мир, даже если кругом бушуют страсти. Оно называется «насильственным», потому что из всех сил сопротивляется страсти и устанавливает порядок в обители души. Это насилие – голос и сила Самого Бога, говорящего в нашей душе. Это власть того, кто зовется Богом мира, говорящего внутри нас, в Его святилище. Бог мира не прославляется насилием.

И наконец, проблема правдивости – это проблема любви. Правдивый человек не тот, кто видит правду и выражает ее так, как видит, а тот, кто любит правду чистой любовью. Но правда больше абстракции. Она живая, и ее олицетворяют реальные люди и вещи. И секрет искренности нужно искать не в философской любви к отвлеченной истине, а в любви к реальным людям и реальным вещам – любви к Богу, воспринимаемой через окружающую нас действительность.

Святой должен искать правду как то, чему нужно служить, а не как что-то, чем он владеет и манипулирует ради собственного удовольствия. Эгоизм нашего века, посвятившего себя культу удовольствий, заразил весь род человеческий, так что все наши поступки в той или иной степени – ложь перед Богом. Такой век не может быть искренним.

Наша способность быть искренними с собой, с Богом, с другими людьми, на самом деле, пропорциональна нашей способности к искренней любви. А искренность нашей любви в большой степени зависит от нашей способности поверить в то, что нас любят. Большая часть нравственных, психических и даже религиозных сложностей нашего времени связана с нашим отчаянным страхом того, что мы не любимы и не будем любимы никогда.

Большинство людей хотят, чтобы их боготворили и впадают в отчаянье, не получив той любви, которую, как им кажется, они заслуживают. Даже последний глупец должен смутно сознавать, что не достоин поклонения, и независимо от того, считает ли он себя вправе на то, чтобы его обожали, или нет, он вскоре обнаружит, что не может никого обмануть и заставить ему поклоняться. Наше представление о себе так далеко от реальности, что мы восстаем против этого недостатка «любви», словно нас ею обделили. Вся наша жизнь строится на двоемыслии. Мы допускаем, что другие получают то признание, которого мы хотим для себя, и, исходя из этого, считаем, что раз мы не любимы такими, как есть, то должны стать любимыми под фальшивым предлогом, то есть казаться лучше, чем есть.

Возможно, так мало людей верят в Бога потому, что они перестали верить в то, что Бог может их любить. Человек, который не боится признать все дурное в себе, и все же считает, что он может быть объектом Божьей любви именно в силу своих недостатков, становится искренним. Его правдивость основана не на иллюзиях о себе, а на уверенности в бесконечной, неизменной милости Божьей.

No Man Is An Island

«ДУША МОЯ ВСПОМНИЛА О ГОСПОДЕ»

В день скорби моей я взыскал Господа; рука моя простерта ночью, и не опускается; душа моя отказывается от утешения.

Воспоминаю о Боге, и трепещу; помышляю, и изнемогает дух мой.

И сказал я: Вот мое горе – изменение десницы Всевышнего. (Пс 76:3, 4, 11)

Мы не могли бы найти Бога, если бы Он не нашел нас. Мы можем начать Его искать в оставленности, ощущая лишь Его отсутствие. Но сам факт того, что мы Его ищем, доказывает, что мы уже нашли Его. Если мы продолжаем молиться, мы «вспоминаем» Его, то есть начинаем снова сознавать, Кто Он в действительности. И мы видим, что Он нашел нас. Когда это осознание – действие благодати, оно всегда свежее и новое. Это нечто большее, чем возвращение прошлого опыта. Это новый опыт, и он делает нас новыми людьми.

Эта новизна есть «наслаждение» и «упражнение», свидетельствующие о контакте с Духом Божиим. Она вызывает у нас духовный восторг при переходе от смерти к жизни. И наши глаза открываются. Мы видим все в новом свете. И понимаем, что это – новое начало, перемена, которая могла произойти лишь при вмешательстве Его Духа в нашу жизнь – «изменение десницы Всевышнего».

Господь – моя скала и крепость, Он живет среди народа своего.

Придите, войдем в дом Всевышнего и воздадим хвалу Ему.

Уснем, как орлы на утесе, упокоимся в силе Господа Бога нашего!

Сокроемся в великой горе Его мощи, Того, Кто обитает сокрытый среди покинутого народа.

Даже гром Его – убежище бедных!

No Man Is An Island

«ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ СТРАНА...»

Если есть на свете страна, где бы люди любили комфорт, удовольствия и материальное благополучие, крепкое здоровье и разговоры о погоде, о телесериалах и розовых унитазах, страна, где молчание вызывало у людей беспокойство, молитва доводила до безумия, а наказание страшило до смерти, то это – Америка. Однако, совершенно неожиданно американцам – самым здоровым, нормальным, энергичным и оптимистичным из молодого поколения – взбрело в голову бежать в траппистские монастыри, обрить головы, облачиться в рясы и скапулярии и пойти работать в поля, молиться полночи и спать на соломе, одним словом, стать монахами.

Если вы их спросите, почему они все это делают, они могут ответить очень четко, а может быть и немного путано, в любом случае ответ будет следующим: трапписты – самый суровый орден, который они могли найти, и траппистская жизнь меньше всего напоминает ту жизнь, которую ведут люди в маленьких и больших городах мира. И что-то в их сердцах говорит им, что они не могут быть счастливы в обстановке, где люди ищут лишь удовольствий, выгоды, комфорта и успеха.

Они пришли в монастырь не для того, чтобы скрыться от реальной жизни, а чтобы найти подлинную реальность: они ощутили ужасающую ущербность цивилизации, посвятившей себя погоне за тенями.

Какой смысл жить ради тех вещей, которые вы не можете удержать, ценностей, которые крошатся в ваших руках, как только вы завладеваете ими, удовольствий, которые становятся горькими, прежде, чем вы вкусили их, и мира, который постоянно оборачивается войной? Люди становились траппистами не только в надежде на мир в будущей жизни, но что-то с непоколебимой уверенностью подсказывало им, что мир иной начинается в этом мире, и что небо может принадлежать им уже теперь, истинно, пусть и несовершенно, если они отдадут жизнь делу, ведущему к небесному блаженству.

Это дело – любовь: чистая, бескорыстная любовь, живущая не тем, что она получает, а тем, что отдает; любовь жертвенная, которая возрастает, изливаясь на других, и становится могущественной, отрекаясь от себя.

Разве не удивительно, что траппистские монастыри исполнены мира, довольства и радости? Эти люди, не имеющие никаких мирских удовольствий, обладают всем счастьем, которое не может найти мир. Их молчание красноречивей, чем все речи политиков и шум радио по всей Америке. В их улыбках больше радости, чем в смехе тысяч людей. Глядя на холмы и небо, они видят красоту, которую не могут найти другие люди. Когда они работают в полях и лесах, кажется, что они утомлены и одиноки, но их сердца спокойны. Они погружены в великое общение с Тремя Лицами в одной бесконечной природе, с Единым, Который говорил со вселенной и привлекает ее к себе Своей любовью, Единым, от Которого произошло все и к Которому все возвращается, в Котором вся красота и сущность и актуальность всего в мире, Который и есть реальность.

The Waters Of Siloe

СВЯТОЙ ХУАН ДЕ ЛА КРУС

Если вы не видели картину Эль Греко «Вид Толедо», вам нужно ее увидеть. Она расскажет вам кое-что о св. Хуане. Кое-что, но не очень много. Святой Хуан де ла Крус и Эль Греко были современниками, жили в одной стране, были мистиками, хотя каждый на свой лад. В остальном они очень разные. Отец Бруно, автор лучшего на сегодняшний день жизнеописания св. Хуана, несколько раз повторяет, что св. Хуан не похож на портреты Эль Греко. Он скорее напоминает одного из картузианцев Сурбарана. Но и это сравнение не вполне точно. На подлинном портрете святого мы видим простодушное и довольно невыразительное лицо. Он совсем не кажется аскетом. Можно подумать, что перед нами портрет мадридского лавочника или повара.

Вид Толедо, написанный Эль Греко, чрезвычайно драматичен, и в нем есть свой духовный смысл. Кажется, что перед нами изображение Небесного Иерусалима в железной броне. Впрочем, в зданиях нет ничего застывшего. Темный город, построенный на горе, совершенно живой. В нем бурлит жизнь, управляемая тайным промыслом, который вздымает каменные громады вверх, к небу, к тучам, темнеющим посреди синей пропасти, которая предвещает конец мира.

Среди изображенных построек должно быть здание, где пребывал в заточении св. Хуан де ла Крус. Вскоре после реформы св. Терезы Авильской он был похищен противниками реформы и исчез. Никто не знал, где он находился, и св. Тереза сокрушалась о том, что никому до этого нет дела. Его заточили в темнице, где во время душного испанского лета не было ни света, ни воздуха и где он ждал суда и наказания за то, что его гонители всерьез считали нарушением церковного права. Политические и церковные разногласия, вызванные кармелитской реформой, втянули святых в сложную интригу. Св. Тереза, чья голубиная простота сочеталась с поразительным благоразумием, даже радовалась ей.

Св. Хуан де ла Крус изнывал в своей темнице. Иногда его приводили в трапезную и подвергали публичному бичеванию. Тю-

ремщиков возмущали его кротость и молчание, которые, по их мнению, изобличали нечистую совесть, ожесточившуюся в неповиновении. Они не понимали, почему он ничего не сделал, чтобы защитить себя.

Здесь в Толедо, в «чреве кита», молчаливый, как пророк Иона, святой общался не с людьми, а с одним Богом, терпеливо дожидаясь от Него ответа, который должен был прервать темную ночь души. Никто не знает, когда и как Бог ответил. Известно лишь, что в праздник Вознесения 1578 г. св. Хуан чудом бежал из темницы, прихватив с собой рукопись поэмы, которую почтенные критики объявили самым совершенным творением испанской литературы. Круг этих критиков широк – от Менендеса-и-Пелайо, довольно старомодного и напыщенного писателя, до современных и более передовых авторов. Даже лондонский журнал *Horizon* включил две статьи о св. Хуане в серию «Изучаем гениев».

Насколько я знаю, Хуан де ла Крус – единственный святой в этой серии.

Эль Греко рисовал Толедо как раз в то время, когда св. Хуан томился в толедской тюрьме. Но темница св. Хуана и «Духовная песнь», чудесным образом расцветшая в каменном мешке, не имеют ничего общего с картиной греческого художника. У них разные цветовые гаммы. Художник изобразил город, окрашенный в черный, лиловый, зеленый, синий и серый цвета. И движение, изображенное на картине, – безрассудный взлет ввысь, в котором земля и небо стекают с верхней части холста, словно морская вода во время отлива. Заточение св. Хуана выглядит совершенно иначе: в нем преобладает черный, бледно-желтый, коричневый и красный – цвет крови, текущей по его спине. Движение здесь центростремительное. Он заключен в раскаленных каменных стенах, а глубины его души прошли через чистилище и достигли самого Центра -- Любви, что движет солнце и светила⁷, Бога Живого.

7 По-видимому, аллюзия на «Божественную комедию» Данте, которая кончается словами: «Любовь, что движет солнце и светила».

Кажется, последнее место в мире, где могла быть написана
«Духовная песнь», – это карцер!

Попробуем перевести отрывок из нее:

13. Возлюбленный мой, горы,
безлюдный край лесных долин безбрежных,
ручьев певучих споры,
даль островов нездешних,
и ветер, ароматов сладость вешних,

14. и ночь, что, замирая,
затихла в ожидании рассвета,
и музыка немая,
и песнь, пустыней спета,
и трапеза влюбляющая эта...

15. Нас ложе ожидает
в пещерах львиных, убрано цветами;
их пурпур устилает,
а мир его над нами,
ста золотыми огражден щитами.

29. О, птиц беспечных стая,
львы, серны, быстроногие олени,
холмы и гладь речная,
ветра, огни, теченья,
и страхов полуночных наважденья:

30. Я песнею сирены
и звуком нежной лиры заклинаю –
не троньте наши стены,
шум игр своих смиряя,
Супруги не будя и не смущая!⁸

8 Св. Хуан де ла Крус. «Духовная песнь». Перев. Л. Винаровой. Интернет-ресурс

Лишь святой и Господь Бог могут сказать, что за далекие отзвуки чуждой повседневной жизни проникали в сумрачную темницу и бесконечно глубокий сон, в котором его душа покоилась в Боге. *Не касайся стены...* но церковные власти не могли потревожить экстаз человека, унесенного так далеко, что его уже не волновало то, что он может быть отвергнутым всеми, даже святыми!

Нельзя стать святым, не научившись правильному отношению к страданию. За исключением авторов Священного Писания, никто не решает эту проблему так, как св. Хуан. Не буду распространяться о его ответах. Скажу только, что они есть. Их можно найти в книге «Ночь души». Но одно сказать нужно: святой не решает проблему страдания чисто теоретически. Он решает ее, не анализируя, а страдая. Это живое решение, выжженное огнем в плоти и духе праведника. По слову Писания: «Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца испытывает Господь» (Прит 17:3).

Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу,
То приготовь душу свою к искушению;
Управь сердце твое, и будь тверд,
И не смущайся во время посещения;
Прилепись к Нему и не отступай,
Дабы возвеличиться тебе напоследок.
Все, что ни приключится тебе,
Принимай охотно,
И в превратностях твоего унижения
Будь долготерпелив:
Ибо золото испытывается в огне,
А люди, угодные Богу, в горниле унижения (Сир 2: 1 – 5).

Святость не состоит из страданий и не есть их плод: многие люди страдали и стали бесами, а не святыми. Есть и такие, которые радуются страданиям святых и ужасно чувствительны к собственным страданиям, а в довершении ко всему мучают других иногда

во имя святости. Такие люди преследовали св. Хуана в последние дни его жизни и сделали его путь на небо более мучительным и героическим. Они не принадлежали к числу «обутых» кармелитов (*carmelitae calceati*), которые схватили святого в начале его пути. То были поборники аскетизма из его собственного реформированного братства, представители второго поколения, которые невольно погубили работу основателей и сознательно сделали все, чтобы помешать св. Хуану отстаивать идеалы св. Терезы.

Святой продолжает страдать, но страдание перестает быть препятствием для его миссии или счастья, – он ощутимо и явно находит их в воле Божьей. Воля Божья для святого не в *проявлении* божественного промысла, а в самом Боге.

В обычной жизни страдание всегда противостоит радости. Но между естественным страданием и сверхъестественной радостью нет противоречия. Радость сверхъестественная – одна из граней любви к ближнему. Она неотделима от любви, которую проливает в наши сердца Дух Святой. Но когда святость еще не достигла зрелости, радость не всегда узнаваема. Она скрыта под спудом боли. Истинная любовь к ближнему не ослабевает от страданий, а питается ими: они укрепляют ее животворную силу. Любовь к ближнему – это выражение божественной жизни в нас, и эта жизнь, если мы позволим ей развиваться, вырастет и расцветет в присутствии всего, что могло бы ее уничтожить и угасить ее пыл. Поэтому жизнь, еще сильнее блистающая перед лицом смерти, непобедима. Ее радость не иссякает. Она покоряет себе все. Она не знает страданий. Как воскресший Христос, Ее Творец и Начальник, она не ведает смерти.

Великий реформатор кармелитского ордена св. Хуан де ла Крус был совершенен в любви. Настолько совершенен, что люди почти не замечали его любви. Его душа была слишком чистой, чтобы привлекать к себе внимание. И все же именно благодаря этой чистоте он – один из немногих святых, который может быть услышан в самых неожиданных уголках оскверненного мира. Св. Хуан, которого почитают немногие созерцатели, может оказать-

ся последней надеждой для блудниц и мытарей. Мудрость этого необыкновенного ребенка простирается «от одного края земли до другого». Затерявшийся в чистой премудрости Божьей и в самом Боге, он мог постичь все сущее. Этот святой, часто подвергавшийся осмеянию за крайние взгляды, на самом деле, вышел за все пределы и крайности. Уничтожив все крайности своим смирением, он стал бесцветным и безликим. Его учение, которое считается нечеловечески трудным, трудно лишь потому, что оно сверхъестественно просто. Наша природа, желающая укрыться от Бога в лабиринте рациональных хитросплетений, как Адам и Ева среди райских деревьев, противится такой простоте.

У св. Хуана труднее всего принять не Крест, а ужасающее бесстрашие его внутреннего одиночества. Как он разумно указывает, когда душа посредством Креста отстранилась от всех чувственных и духовных препятствий, ее путь к Богу становится легким и радостным: «Крест – это посох, с помощью которого можно достичь Бога, и эта дорога светла и легка. Господь сказал через св. Матфея: «Иго мое благо и бремя мое легко», и это бремя – крест. Если человек решается нести свой крест, то есть встретить испытания и вынести их ради Бога, он найдет в них великое облегчение и сладость, с которыми можно идти по этому пути, отрешившись от всего и ничего не желая»⁹.

В этих двух словах «ничего не желая» – вся сложность и вся простота св. Хуана. Ни один христианин не может жаловаться на них. Эти два слова – эхо двух других слов, в которых можно выразить все учение Христа: «...отвергнись себя». «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя».

Полнейшее самоотречение, которое св. Хуан искал в глубинах человеческого духа, превращает наш внутренний мир в пустыню, в которой нет ничего примечательного. Не остается даже слабого утешения, что мы переживаем личную катастрофу. Духовное потрясение, даже если оно ужасно, все-таки интересно. Но душа созерцателя с радостью соглашается быть сведенной до состояния

⁹ *Святой Хуан де ла Крус* «Восхождение на гору Кармель». Общедоступный православный университет, 2004. Книга 2, гл. 7, 7.

полнейшего одиночества и покинутости, в которой созерцатель, прежде всего, отказывается от жалости к себе. Многих людей привлекает одиночество, в котором у них будет время и возможность созерцать себя. К св. Хуану это не относится. «Эти лишения даруют душе столь чистую любовь к Богу, что такую душу уже не побуждают трудиться ее собственный вкус и удовольствие от труда, как, быть может, было раньше, когда она получала удовольствие; но трудится душа лишь для того, чтобы угодить Богу. Она перестает быть тщеславной и довольной, какой, возможно, привыкла быть во время своего благоденствия, но становится подозрительна и боязлива по отношению к себе самой, не получая от себя никакого удовлетворения; в этом есть страх Божий, который сохраняет и увеличивает добродетели. ... если нет удовольствия, которое Бог со своей стороны иногда вселяет в нее, только чудом получает она чувственное удовольствие и утешение от своего усердия в каких бы то ни было трудах и духовных упражнениях, как уже было сказано.

В этой сухой Ночи возрастает попечение о Боге и жажда служить Ему, ибо, по мере того, как иссякает млеко чувственности, коим душа питалась и коего желала, в этой сухости и отрешенности остается одна лишь жажда служить Богу, что очень угодно Ему...»¹⁰

Радость от этой пустоты, потрясающая бесстрастность, которая отрывает душу от всего земного, но еще не дает ей обладать небесным, внезапно расцветает и превращается в рай чистой свободы, о котором святой поет в своей «Духовной песне»: одиночество посреди диких птиц и причудливых деревьев, скал, рек, пустынных островов, львов и скачущих оленей. Эти создания суть образы духовной радости, внутреннего уединения, огни, вспыхивающие в бездне чистого сердца, чье одиночество оживает Божественный свет.

Для меня св. Хуан де ла Крус не просто самый доступный из всех святых, он – мой любимый святой наряду со св. Бенедиктом,

10 *Святой Хуан де ла Крус «Темная ночь»*. Общедоступный православный университет, 2006, т. 1, 12–13.

св. Бернаром и св. Франциском Ассизским, которые мне тоже очень близки. В конце концов, мы дружим с теми, кто допускает нас в свою компанию. Св. Хуан самый доступный из них. Это может показаться вопиющим парадоксом для тех, кому он кажется неприступным. Тем не менее, это правда, если учесть, что лишь немногие святые (если вообще таковые были), открывали нам такие бездны собственной души. В «Живом пламени» св. Хуан впускает нас в «сердцевину» своей души, в «глубокие пещеры», где горящие светильники – атрибуты Бога – таинственно мерцают в метафизическом полумраке; кто еще способен на большее? Св. Хуан открывается не в аллегории, как св. Тереза в «Чертоге души», а в символе. А символ – куда более могучее и действенное средство, чем аллегория. Он более непосредственный и интимный и потому более правдивый. Он менее рассудочный, его не нужно оттачивать. Символы, рождающиеся в глубинах души св. Хуана, пробуждают родственные символы в сердцах тех, кто его любит. Их воздействие поддерживается и усиливается благодатью, которую сам святой вымолил для тех, кто призван любить его в Боге. Так возникает союз души с самим Богом. Земля не знает такой близости. Те, кто любят св. Петра из Евангелий и отзываются с живым сочувствием на его глубоко человеческий опыт, не так близко его знают, как те, чей молитвенный опыт роднит их со св. Хуаном. Мы знаем Петра только по его чувствам и переживаниям. Но общение на этом уровне не столь тесное, как в глубинах духа.

Св. Хуан де ла Крус не только становится доступным для нас, но совершает нечто большее: он делает нас доступными для самих себя, открывая глубины наших сердец Богу.

И, наконец, позволю себе сказать следующее: св. Хуан де ла Крус подходит далеко не всем. Даже в созерцательном монастыре есть люди, которые никогда не станут его последователями. А есть и другие, которые думают, что знают его, но лучше бы оставили его в покое. Он огорчит всех, кто считает, что его учение должно вести возвышенным путем. Напротив, его путь столь смиренен, что он завершается ничем: св. Хуан не признает си-

стем, он ярый противник всякой экзальтации. *Omnis qui se exultat humiliabitur*¹¹.

Хуан де ла Крус – покровитель тех, чье призвание может показаться увлекательным, хотя, на самом деле, оно скромно, неприятно, трудно и непонятно. Он – покровитель, защитник и учитель тех, кого Бог привел в однообразную пустыню созерцательной молитвы. Его владения четко очерчены. Он – покровитель созерцателей в строгом, но не юридическом смысле слова, а также их духовных наставников. Он – покровитель тех, кто молится совершенно особым образом, как того желает Бог, -- в монастыре, пустыне или городе. Поэтому его влияние не ограничивается одним орденом. Его учение не просто одно из направлений «Кармелитской духовности», как многим кажется. Осмелюсь сказать, что он – отец всех тех, чья молитва не имеет определения и пребывает за пределами «духовности». Он, прежде всего, имеет отношение к тем, кто так или иначе оказался лицом к лицу с Богом; никакие практики и книги не объяснят, как это происходит. Во Христе он – образец и наставник созерцателей, где бы они ни находились.

Сказанного вполне достаточно. Св. Хуан де ла Крус не был известен при жизни и не будет известен и в наши дни. И совсем необязательно, чтобы он или созерцание получили признание. В мире, где все доброе существует лишь на словах, было бы неразумно привлекать всеобщее внимание к созерцательной молитве, хотя, возможно, нет ничего дурного в том, чтобы она стала известна. Сам Бог в соответствии со Своим замыслом прекрасно знает, как открыть то или иное тем, кто в этом нуждается.

Достаточно сказать, что он – один из величайших и самых сокровенных святых, что из всех святых он – величайший поэт, а также величайший созерцатель, и что в своем смирении он был самым человеческим, о чем надо было бы рассказать подробнее. Знаю, что он поймет, что это эссе о нем – дань уважения, знак любви и благодарности и скрытая молитва. Он знает, чего взыскует молитва. Так пусть же он даст это автору и его читателям.

Saints For Now

11 Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет (Лк 18:14).

МИР ЛЮБВИ

ПУТИ ЛЮБВИ

Когда рана начинает затягиваться, врачи снимают повязку и вместе с ней отдирают кожу. Когда человек поступает на службу в армию, у него первым делом отбирают его гражданскую одежду и выдают военную форму. Когда человек уходит в монастырь, происходит то же самое. Если монастырь хороший, у него отбирают практически все. Если не очень хороший, ему оставляют почти все, что он взял с собой, и он даже может приобрести многое, прежде чем лишится всего.

Когда человек становится цистерцианцем, с него сдирают не только одежду и часть кожи, но и все тело, а также изрядную часть духа. И все это происходит не в первый день! Вся цистерцианская жизнь есть свежевание, потрошение, промывание и прочистка человеческой души.

Смена светской одежды на религиозное облачение символична. Более чем символична, поскольку она приносит с собой благодать таинства. Но сама эта благодать – лишь указание на смысл символа: внутреннее сдирание, отслоение и замена.

Мы должны опустошиться от всего, что принадлежит человеку в мире; Бог привел нас в монастырь, чтобы наполнить нас чем-то иным: мы не можем наполниться, пока не опустошимся, освободив место для того, что должно прийти.

Чем хочет наполнить нас Бог? Своей радостью, Своим миром, любовью к ближнему. Поэтому мы должны освободиться от всех других менее важных радостей, от ложного мира, от всех видов любви, которые не дают нам раскрыться в той полноте, ради которой мы созданы Богом.

Мы созданы по образу Божьему, и наше счастье состоит в восстановлении этого образа, который и есть наша истинная природа, и восстановлении естественных способностей с помощью

сверхъестественной благодати и славы. Наше счастье зависит от нашего Богоподобия, от соединения с Богом во Христе.

Одна из особенностей нашей природы, которая и составляет образ Божий в нас, – наша врожденная свобода. Бог бесконечно свободен, потому что Он бесконечно могуществен и ничем не ограничен, кроме Его собственной любви, а любовь по своей сути свободна.

Свобода, присущая нашей природе, – это наша способность любить что-то или кого-то помимо нас самих и не ради нас самих, а ради того, кого мы любим. Человеческой природе изначально присуще стремление к бескорыстной любви. Эта способность любить другого ради него самого – одно из свойств, уподобляющих нас Богу, поскольку она совершенно свободна. Эта сила избавляет нас от неизбежного себялюбия и преодолевает его.

Ибо нашей природе присуща также врожденная любовь к себе. Это стремление есть благо и благо великое: без него мы бы не могли выжить. Но сам факт того, что она дана нам для нашего выживания, означает, что эта благая любовь к себе не может быть свободной. Все сущее по своей природе ищет совершенства, и в соответствии с этой природой ищет его не свободно, а по внутреннему принуждению, корнящемуся в самой природе. Поэтому человек, как учит Дунс Скот и другие схоластики, неизбежно принужден этим врожденным себялюбием, *affectio commodi* (любовь к полезному) искать высшего совершенства своей природы, искать счастья, хочет он того или нет. То есть в этом отношении он не свободен. Любовь к себе, даже если она благая, есть принцип необходимости, принуждения.

Но врожденный принцип бескорыстной любви, который Дунс Скот называет *affectio iustitiae* (любовь к справедливости), имея в виду любовь, повелевающую нам отдавать другим то, что принадлежит им по праву в силу присущего им совершенства, – эта бескорыстная любовь поднимает нас над необходимостью нашей природы; она призвана контролировать и регулировать все движения *affectio commodi* в интересах свободы и большего совершенства другого. Поэтому человек может любить другого

человека или Бога столь сильно, что способен пренебречь всеми справедливыми требованиями любви к собственной пользе и пожертвовать самой жизнью ради предмета этой любви.

Даже если бескорыстная любовь избавляет нас от ограничений разумного эгоизма и делает свободными от детерминизма настолько, насколько мы можем быть свободны по своей природе, существует еще более высокая свобода. И существует другая форма *affectio justitiae* (любовь к справедливости), высший принцип бескорыстия и свободы, вложенный в человеческую душу Самим Богом, – добродетель милосердной, сверхъестественной любви, которая не только совершенствует врожденное стремление к бескорыстной, свободной любви, но и возвышает ее над уровнем всякой сотворенной природы и приобщает к совершенной любви самого Бога, к Его собственной свободе. Поскольку благодать совершенствует все, что достойно совершенствования, даже наша любовь к себе очищается и возвышается до сверхъестественной с помощью более высокой *affectio commodi*, которая есть стремление к небу.

Таким образом в нашей природе всегда сохраняется равновесие. Эти два нераздельных стремления должны всегда пребывать в нашей воле, независимо от того, преобразятся ли они при помощи вложенных в нас добродетелей или правильный порядок вещей настолько нарушен и искажен, что *affectio commodi* завладевает нашей свободой, и мы уже не способны любить что-либо, кроме самих себя.

Крайний предел подобного плена – ад, где, по словам Дунса Скота, осужденные полностью погружены в безысходное себялюбие.

Я очертил принципы Дунса Скота, потому что благодаря им можно полностью понять, что такое созерцательная жизнь. Скажу больше. Их психологическая глубина такова, что когда мы ими владеем, мы способны проникнуть в глубинные причины практически всего, что должен испытать человек в цистерцианском монастыре.

Высшее совершенство нашей природы – в совершенном действии наших высших способностей, направленных к самым совершенным предметам: в двух словах, высшее совершенство нашей природы – любовь к Богу не просто потому, что Он – наше высшее благо, но потому, что Он бесконечно благ сам по Себе. Эта чистая и совершенная любовь есть прославление, которого ждет от нас Бог, а также наша высшая награда, предел всякого человеческого счастья.

Accipimus beatitudinem pro summa perfectionis beatificabilis naturae ipsam summe suo objecto perfectissimo conjugente. (IV. Oх. Xlix q.6, n24)

Принимаем блаженство как высшее совершенство природы, которая делает блаженным, будучи вершиной совершеннейшего объекта соединения.

(Frutio beatitudinis) est actus amicitiae volendo Deo in se bene esse... et iste (actus) proprie est charitatis. (I Oх. I q. 5)

Плод блаженства – есть акт бескорыстной любви, желающей Бога Самого по себе, и в то же время – акт милосердной любви.

Следовательно, мы можем быть счастливы в этом мире лишь постольку, поскольку мы способны радоваться благу и пользе другого, в особенности, благу Божьему.

Если бы весь мир постиг этот принцип, состоящий в том, что истинное счастье состоит лишь в свободе бескорыстной любви – в способности освободиться от себя и своей ограниченной сферы интересов, влечений и нужд и радоваться благу и пользе других, не потому, что оно также и наше благо, а именно потому, что это их благо и польза!

Разве не очевидно, что когда мы обречем эту свободу, за ней не только само собой последует счастье: радость будет следовать за нами по пятам, и мы не сможем освободиться от нее. Почему? Все сущее – благо, и мир полон благих вещей, которые свидетельствуют о бесконечном благе и силе Божьей, поэтому если бы мы радовались благу, которым владеют другие люди, именно

потому, что они ими владеют, мы не могли бы смотреть без ликования на цветок, травинку, насекомое, каплю воды, песчинку или листок, не говоря уже о целом дереве, птице, звере или человеку.

Таким образом созерцательная жизнь направлена, прежде всего, к одной цели – совершенствованию *amor amicitiae*, бескорыстной любви и освобождению нашей воли от себялюбия, не только от естественной любви к себе, но и от неестественного себялюбия, которое есть грех и принято называть «похотью».

Великие моменты радости и силы, приходящие к тем, кто посвятил свою жизнь Богу, наступают тогда, когда человек под сильным и специфическим воздействием благодати может совершить акт чистой и бескорыстной любви. Ибо совершенный огонь этой любви, омывающий душу чистым, сильным и невидимым пламенем, очищает всего человека и наполняет его необыкновенной легкостью и свободой действий. И миг чистой молитвы, мгновенно восстанавливающий порядок в душе, воздействует также и на тело, иногда укрепляя человека от усталости и немощи и улучшая даже его физическое состояние.

Вместе с тем одна из жесточайших форм внутреннего страдания напоминает ад. Чем ближе человек подходит к Богу, тем больше он подвержен этой яростной и пронизывающей боли, пока он не очистится полностью и не станет неуязвимым для всякой боли. Источник этого страдания – зло, связанное с малейшим нарушением *affectio commodi*. В тот миг, когда мы предпочитаем наше собственное удовлетворение воле Бога, Которого мы любим, происходит сбой, и Бог по Своей милости иногда дает нам вкусить всю горечь, скрытую в нашем эгоизме и грехе. И чем больше мы Его любим, чем ближе мы к Нему, тем горше может быть этот опыт.

Ибо наш эгоизм, в той мере, в какой он подразумевает отвержение Бога, Который есть наша жизнь, бросает нас в бездну страшного одиночества, где мы остаемся лицом к лицу с нашим эгоизмом и неизбежной неспособностью удовлетворить себя средствами, которыми мы владеем. Иногда Бог показывает нам на земле, что придется вынести душам в аду, и оставляет нас на время в плену нашей собственной жуткой пустоты без Него, и мы

не в силах вырваться из этого плена при помощи одного неэгоистичного поступка. В этом состоянии ценность всего, что нас окружает, оказывается безысходностью и сокрушительным укором, и кажется, что ничего не остается, кроме вечного осуждения.

Самое странное то, что в мире есть люди, ни в чем неповинные мужчины и женщины, чистые от всякого греха и эгоизма, которые должны претерпевать эти муки во искупление всепожирающего эгоизма кровавадной, людоедской цивилизации.

И это подводит нас к последнему парадоксу.

Из глубин этого последнего испытания, как феникс из адского пламени, может восстать совершенная любовь, поющая победную песнь столь чистую и прекрасную, что эта любовь вырывается, как Христос, из сокрушенных врат ада, избавляя души праведных. Сломленная и оставленная в горе и отчаянии, бескорыстная любовь воскресает из мертвых со слепой, несокрушимой силой и доверием к благому и милостивому Богу, Возлюбленному, стремительно пронизывает темную бездну и достигает небес, чтобы воздать Ему величайшую и чистейшую славу – славу, которую воздал Отцу Христос в предсмертных муках в Гефсимании и на Голгофе.

Тогда даже оставленность становится радостью, одной из величайших радостей, которая помогает нам служить единому на потребу – *affectio justitiae, amicitia*, чистому милосердию, жертвенной любви, которая все дала Христу и все восполняет Его страданиями ради Его Тела – Церкви.

Души, достигшие этой степени любви на земле, не познают чистилища после смерти.

К этому направлена цистерцианская жизнь и жизнь кармелитской монахини, картезианского монаха, камальдульского отшельника¹² – к освобождению истинной природы человека с помощью любви и жертвы.

Следовательно, всякое испытание, даже малейшее, всякую возможность отвергнуться себя, будь то несправедного себялю-

12 Камальдолийцы – католические монашеские автономные конгрегации, живущие в духе реформы св. Ромуальда, проведенной им в XI в.

бия или законной affectio commodi, не суть важно, – всякую возможность принести жертву следует считать благодатью, милостью, провиденциальной возможностью обрести свободу.

Я благодарю Бога за то, что с первой минуты, как я поступил в монастырь, Он дал мне множество таких благодатных даров, и сожалею, что по своей слабости, недоверию и страху я вынудил Его ограничить их число. Однако не могу сказать, что Он покинул меня, как только я вошел в двери монастыря, или не захотел укрепить мою слабую природу утешениями в должное время, за что я благодарю Его: я не пренебрегаю ими! Они открыли мне путь в новые миры.

*Неопубликованный отрывок из рукописи
«Семиярусной горы»*

ЛЮБОВЬ В МЕДИТАЦИИ¹³

Религиозная медитация отличается тем, что в ней мы ищем и стремимся обладать истиной не только с помощью знания, но и любви. То есть молитвенное размышление (медитация) – это интеллектуальная деятельность, неотделимая от освящения духа и усилий воли. Присутствие любви в нашей медитации усиливает и проясняет нашу мысль. Наша медитация пронизана любовью к *ценности* высшей правды, которой взыскует разум. Воля, движимая сильным желанием, взыскует истины как высшего блага души, поднимает душу над уровнем размышления и делает наш поиск истины молитвой, полной благоговейной любви и преклонения, стремящегося пронзить темное облако, которое отделяет нас от престола Божьего. Мы взываем к этому облаку, мы плачем о нашей бедности и беспомощности, мы поклоняемся милости Божьей и Его высочайшему совершенству, мы всем своим существом отдаемся служению Ему.

Поэтому умная молитва подобна ракете. Воспламенившись от искры божественной любви, душа взмывает в небо в акте познания, столь же ясного и прямого, как огненный хвост ракеты. Благодать высвободила глубочайшие энергии нашего духа и помогает нам подняться на новые неведомые высоты. Однако наши собственные способности вскоре достигают своего предела. Разум не может подняться выше. Есть точка, в которой разум склоняет к земле свою огненную траекторию, словно признавая свою ограниченность, и провозглашает бесконечное превосходство недостижимого Бога.

Но именно здесь наша «медитация» достигает своего пика. Любовь вновь вступает в свои права, и ракета «взрывается» вспышкой жертвенной хвалы. Так любовь выбрасывает сотни горящих звезд, всевозможных деяний, выражая все лучшее, что есть в человеческом духе, а душа расточает себя в огнях, про-

13 Это эссе было опубликовано по-английски издательством Liturgical Press, Saint John's Abbey, Collegeville, Minnesota 56321, U.S.A и печатается с разрешения этого издательства.

славляющих имя Божье, пока они падают на землю и гаснут в ночном ветре!

Поэтому св. Альберт великий, у которого учился св. Фома Аквинский в Париже и Кельне, противопоставляет созерцание философов и святых:

Созерцание философов ищет совершенства лишь самого созерцателя и не идет дальше разума. А созерцание святых горит любовью к тому, кого созерцают, то есть к Богу. Поэтому оно не заканчивается актом познания, а распространяется и на волю посредством любви.

Св. Фома Аквинский кратко замечает, что именно по этой причине познание Бога на земле достигается через свет горячей любви: *“per ardorem caritatis datur cognition veritatis”*¹⁴. (Комментарии к Евангелию от Иоанна, гл. 5).

Поэтому созерцание «философов» не более чем интеллектуальное размышление о божественной природе, отраженной в творениях; оно подобно ракете, которая взлетела в небо и тут же упала на землю. Красота ракеты – в ее «смерти», а красота молитвенного размышления и мистического созерцания – в отказе от себя и полном самозабвении во вспышке хвалы, в которой она полностью расточает себя, чтобы свидетельствовать о неотмирном благе бесконечного Бога. Дальнейшее – молчание.

II

Все сравнения в известном смысле ущербны. Образ ракеты может смутить людей с богатым воображением. Медитация не должна быть яркой или захватывающей. Об эффективности нашей умной молитвы нельзя судить по охватившему нас внутреннему горению. Напротив, хотя пылкая любовь, вспыхивающая из живого проникновения в истину, может быть плодом хорошей медитации, мы не должны безоговорочно полагаться на так называемые «утешения от молитвы» или искать их ради них самих. Мы должны быть глубоко благодарны, когда наша молитва действительно помогает нам возрасть в понимании и добре, и ни

¹⁴ Познание истины дается через пламенную любовь (лат.)

в коем случае не должны пренебрегать разумным благочестием, когда оно помогает нам делать то, что мы должны, с большим смирением, преданностью и мужеством.

Поскольку плоды внутренней молитвы собирают в глубинах души, воли и разума, а не на уровне эмоций и инстинктивных реакций, возможно, что «холодная», то есть не эмоциональная медитация, самая плодотворная. Она может вселить в нас силы и одухотворить нашу внутреннюю жизнь, подняв над уровнем чувств и научив управлять собой с помощью разума и веры.

Это один из тех случаев, когда невежество делает продвижение в молитвенном размышлении трудным или даже невозможным. Те, кто считают, что их молитвенное размышление всегда должно оканчиваться вспышкой чувств, впадают в одну из двух крайностей. Либо они обнаруживают, что их чувства высохли и молитва остается «бесплодной». Из чего они делают вывод, что они тратят время впустую и оставляют усилия, чтобы удовлетворить жажду новых ощущений другим способом.

Либо они из тех, чьи чувства неисчерпаемы. Они могут плакать во время молитвы. Могут при желании с помощью некоторой концентрации и правильных усилий прийти в исступление. Но это опасный путь. Эмоциональная гибкость может помочь в начале внутренней жизни, но позднее стать препятствием к продвижению вперед. Вначале нас влекут к себе мирские удовольствия, и наши эмоции уводят нас от Бога, пока они сами не проникнуться радостью и уверенностью в ценности молитвы. Так вкус к духовному должен начинаться со смиренных и земных чувств и ощущений. Но если наша молитва всегда заканчивается чувственным удовольствием и внутренним комфортом, мы рискуем остаться на этом уровне, который никак нельзя считать целью нашего путешествия.

III

У каждого человека способ медитации в большой степени зависит от его темперамента и природных дарований. Интеллектуал и аналитик разобьет текст на части и будет идти за мыслью,

останавливаясь и размышляя над каждой новой идеей, чтобы рассмотреть ее с разных точек зрения и выявить ее скрытый смысл – теоретический и практический.

Но анализ не должен заходить слишком далеко. С помощью рассуждения ум должен подняться до уровня интуиции. Молитвенное размышление достигает полного размаха, когда ум может охватить все содержание предмета одним глубоким и пронизывающим взглядом. Затем он останавливается на этом уровне интуиции, чтобы истина дошла до сознания и стала его частью. Интуиция, успокоив на время разум, должна оставить волю свободной, чтобы она склонилась к воспринятой истине и направила к ней всю нашу жизнь.

Такие умы – а их меньшинство – могут плодотворно медитировать над главой из «Суммы теологии» или другим богословским текстом. Но даже они не всегда довольствуются интеллектуальным подходом к сверхъестественному. Для богослова умная молитва должна быть убежищем в его теоретических штудиях, оазисом чувства, куда он может удалиться, чтобы отдохнуть от интеллектуальных трудов. Во всяком случае, молитва любви выше умственных соображений. Всякая внутренняя молитва, каким бы ни было ее начало, должна заканчиваться любовью.

Подлинная цель христианской медитации та же, что и цель литургической молитвы и принятия таинств: глубокое единение посредством благодати и любви с Воплощенным Словом, Иисусом Христом – единственным посредником между Богом и человеком.

Ценность умной молитвы в том, что она абсолютно личная и благоприятствует духовному развитию. Внутренняя жизнь требует от нас героических усилий, необходимых для того, чтобы упражняться в добродетели и отрешиться от беспорядочной любви к мирскому, тварному. Вероятно, мы не можем заставить наши души отречься от самых сильных естественных желаний, пока по-настоящему не оценим нашу связь с чем-то лучшим. Любовь Божья остается холодной абстракцией, пока мы не научимся понимать ее глубоко сокровенный и личный характер. Мы не

можем достичь на земле ясного понимания того, что значит быть любимыми тремя лицами Троицы в одной божественной природе. Но нам будет очень легко принять любовь Божью, когда мы увидим, как она проявляется в человеческой любви Иисуса Христа к нам. Это лучшее и самое разумное основание для жизни по вере, поэтому оно и должно быть главным предметом молитвенного размышления.

Spiritual Direction And Meditation

ПРОМЕТЕЙ: МЕДИТАЦИЯ

Примечание: Два лика Прометея

Эразм обсуждал с Колетом¹⁵ и другими богословами природу Каинова греха: не убийство Авеля, а его первый грех. Их выводы давно перестали быть интересными и важными. Я упоминаю их лишь потому, что Каин Эразма оказался Прометеем из сказки, которая многое открывает нам как в мировосприятии Возрождения, так и в нашем собственном.

Каин, – говорит Эразм, – часто слышал, как его родители говорили о чудесной растительности Рая, где «початки кукурузы высокие, как ольха», и убедил ангела у врат Рая принести ему несколько семян из сада. Он посадил их и стал превосходным земледельцем, но навлек на себя гнев Всевышнего. Его жертвоприношения были Ему неугодны.

Любопытно и важно то, что современный и «прогрессивный» человек должен считать, что он призван отомстить за Каина, и при этом должен отождествлять Каина с принесшим на землю огонь титаном, которого он с удовольствием делает символом своего технологического гения и космических устремлений.

Столь же важно различать два противоположных толкования фигуры Прометея: версию Гесиода, согласно которой Прометей – злодей, и версию Эсхила, где он предстает героем. Разница между ними в том, как Прометей относится к отцу – неумолимому Зевсу.

Гесиод изображает и принимает Олимпийский порядок, где Зевс наделен абсолютной властью над злокозненными, сверженными с престола богами древней Греции. Зевс – бог воинственных ахейцев, разрушивших матриархальное и племенное общество Матери-Земли, Деметры, Геры и Афины. Прометей, сын Земли и Океана, угрожает статичному порядку, установленному Зевсом, порядку, в котором птичка не может прочирывать и цветок не потянется к солнцу без позволения ревнивого Отца. Зевс – хозяин, а не податель жизни. Он с трудом терпит человека и мир людей.

15 Джон Колет (1466–1519) – богослов, декан собора святого Павла в Лондоне, капеллан Генриха VIII.

Согласно Гесиоду, когда Прометей похитил для людей огонь (он не мог получить его у Зевса никак иначе), Зевс отомстил ему (мы все помним, как): добавим лишь, что похищенный огонь обжигает его сердце. Но Зевс отомстил и людям. Каким образом? Человечеству послана женщина.

Нелепая фантазия агрессивного мужского общества! Женщина приходит от Зевса как наказание: в ней «все хорошо, кроме ее сердца».

Женщина – высшая кара в жизни, полной трудов и скорбей!

Мир в поэме Гесиода прекрасен, первозданен, полон эллинистической ясности, и вместе с тем мы видим здесь тьму, гнетущий и виноватый взгляд на жизнь и любовь как на кару. В них нет ничего хорошего. Жизнь – это рабство и страдание из-за Зевса и из-за того, что Прометей боролся с Зевсом. Поэтому жизнь – это колесо, на котором человека ломают, как раба...

Эпиметей, брат Прометея, принимает женщину как дар от Зевса и слишком поздно понимает, что произошло. Тогда он вспоминает слова Прометея: «Никогда не принимай даров от богов»¹⁶.

Гесиод – великий поэт, однако его взгляд на жизнь кажется мне чудовищным. Он мне ненавистен, я отвергаю его всем своим существом еще и потому, что он скрыто присутствует в атеизме того мира, в котором я родился, а потом благодатью Христовой и милостью Божьей родился свыше.

«Прометей прикованный» Эсхила – одна из самых душераздирающих, чистых и священных трагедий. Я не знаю другой драмы, которая так близко касается тех глубин человека, где он способен жить в тайне Божьей.

Прометей Эсхила – полная противоположность Прометею Гесиода. Между Прометеем, Матерью-Землей и Океаном встает фигура узурпатора. У Эсхила это Зевс, а не Прометей. Зевс, а не Прометей болен гордыней, hubris. Прометей, действительно, в своем отчаянии выходит за пределы разума, которые эллины считали

¹⁶ Согласно греческой мифологии, Зевс дает Эпиметею в супруги Пандору – прекраснейшую из женщин, вылепленную из глины Гефестом, которой Афродита отдала свои губы, Афина – свои руки, а Аполлон вложил в ее сердце хитрость, коварство, зависть и другие пороки.

прекрасными. Но его бунт – это бунт жизни против косности, бунт милости и любви – против тирании, и человечности – против жестокости, произвола и насилия. И он призывает женственные, бессловесные, извечно подвижные стихии свидетельствовать о его страданиях. Земля его слышит.

В конце трагедии (первой из трилогии, две остальные утрачены) Земля обещает своему сыну избавителя. Геракл придет и разобьет цепи, которыми Прометея приковали к скале. Зевс смягчится. Его настроение изменится, он все увидит в другом свете. Борющиеся боги примирятся, и примирение будет победой Прометея, а также победой Земли, то есть милости, человечности, непорочности, веры.

Люди снова будут получать дары от Неба. Станет возможным и справедливым ждать этих даров, зависеть от них. Использовать их для того, чтобы построить лучший мир без чувства вины.

Два лика Прометея символизируют два отношения к жизни, одно – позитивное, другое – негативное. Знаменательно то, что Возрождение выбрало негативное. Я пишу о Прометее, желая опровергнуть негативное отношение. В своей медитации я отвергаю негативный современный миф о Прометее и возвращаюсь к архаичному, эсхиловскому, позитивному взгляду на Прометея, который мне кажется глубоко христианским.

Прометей Гесиода – Каин. Прометей Эсхила – Христос на Кресте.

В своей медитации я начал с Гесиода, чтобы опровергнуть его версию.

ПРОМЕТЕЙ: МЕДИТАЦИЯ

Маленькие боги, которых создали для себя люди, – ревнивые отцы, немногим превосходящие своих детей: они лишь чуть-чуть сильнее и умнее них. Бессмертным отцам, боящимся за своих смертных детей, даровано счастливое бессмертие. Чтобы бороться с ложными богами, нужны героизм и отчаянье. Человек, не знающий Живого Бога, приговорен ложными богами к отчаянью: зная, что он сотворил себе идолов, он все же надеется на то, что сумеет их низвергнуть. Увы, он слишком поздно понимает, что создал их бессмертными. В конце концов, они должны поглотить его.

Прометеев инстинкт столь же глубок, как человеческая слабость, то есть почти бесконечен. Прометеево отчаянье – это крик, поднимающийся из бездны человеческой немощи, нечленораздельный крик ужаса, которому человек не смеет взглянуть в лицо, ужаса от того, что он должен быть кем-то, быть собой. То есть ужаса от внезапного осознания того, что он – сын Божий во Христе и в Духе Огня, который нам дан с неба. Огонь, который, как думал Прометей, он должен был похитить у богов, – это его личность в Боге, это самоутверждение существа, сотворенного по образу Божьему. Огонь, который он должен был похитить, – это его собственная духовная свобода. В глазах Прометея быть собой греховно. Проявление свободы – преступление, восстание против богов, которых он создал (богов, которым он отдал все лучшее в себе, поэтому, чтобы вернуть это лучшее, нужно похитить его у них).

Прометей знает (его природа ему подсказывает), что он должен стать личностью. Однако он чувствует, что для этого нужен подвиг, *tour de force*. А подвиг обречен на неудачу. Он осужден самой своей природой на этот подвиг и преступление и чувствует, что эта же природа ведет его к угасанию. Огонь слишком сильно влечет его, так как, в действительности, это его собственный

огонь. Но он ненавидит себя за то, что желает вернуть себе отданное богам, и наказывает себя прежде, чем взял у них отданное. Затем подобно орлу, он пожирает себя, и наконец, наступает удовлетворение. Пожирая себя, он осуществляет себя. (Он втайне говорит себе: «Я завоевал огонь для людей, я пожертвовал собой для других». Но на самом деле, он ничего ни для кого не завоевал. Он потерял собственную душу, но не приобрел весь мир или хотя бы малую его часть.)

Виноватый, разочарованный, непокорный, охваченный страхом Прометей стремится утвердить себя и терпит неудачу. Непостижимым образом он торжествует в поражении. Поскольку Прометей не может себе представить истинную победу, его торжество в том, что он дает орлу выклевывать себе печень: он будет мучеником и жертвой, потому что боги, которых он создал по своему образу и подобию, являют собой его собственные деспотические требования к себе. Есть только один исход в его борьбе с ними: великолепный вызов и упоение отчаяньем.

Тем, кто не знает Живого Бога, кажется, что бороться с богами, – подвиг. Они не знают, что Он сам борется вместе с нами против ложных богов и непременно победит. Тот, кто любит Христа, не должен быть Прометеем. Он не имеет права на поражение. Он должен *поддерживать* огонь, который ему дан с неба. И утверждать, что огонь – его. Он должен отстаивать свои права против всех ложных богов, которые считают, что он был украден.

Вина – драгоценный дар ложных богов Прометею, дар, который сделал возможной всю эту изнурительную борьбу. Не зная, что огонь может принадлежать ему по его просьбе, что это дар истинного Бога, Бога Живого, не зная, что огонь был нужен Богу не для себя (поскольку Он создал его для человека), Прометей чувствовал, что должен похитить то, без чего он не мог обойтись. Почему же? Потому что он не знал бога, который пожелал бы отдать его даром. Он не мог представить себе такого бога, потому что будь он сам богом, он

нуждался бы в огне для себя и ни за что не поделился бы им ни с кем. Он не знал бога, который был бы другом, потому что боги, которых он знал, были лишь немногим сильнее него и так же нуждались в огне, как он сам. Чтобы существовать, они должны были повелевать им, питаться им и погубить его (если бы он сам был богом, он бы знал, что ему придется питаться тем, что слабее него).

Таким образом боги, которых знал Прометей, были слабыми, потому что он сам был слаб. Однако они были немного сильнее него, то есть достаточно сильными, чтобы приковать его к Кавказским горам. (После того, как он сотворил себе богов, у него еще хватило сил, чтобы уничтожить себя в наказание за то, что он пожелал их огня. На самом деле, он погубил себя, чтобы жили они. Поэтому идолопоклонство было и остается главным грехом.)

Человек должен получить все, что можно, от богов, которые у него есть. Прометей должен был иметь слабых богов, потому что сам для себя был богом; ни один человек не признает, что он сам для себя бог. Он предпочитает собственную слабость силе Бога Живого. Если бы Прометей знал сильного Бога и не поклонялся слабым богам, исход трагедии был бы иным. Вина, которая с самого начала преследовала Прометея, больше необходима его богам, а не ему. Если бы он был невиновен, такие боги не могли бы существовать. Без чувства вины он не выдумал бы их, и поскольку они существовали лишь в его сознании, он должен был быть виновным, хотя бы для того, чтобы думать о них. Таким образом, его вина – тайное выражение его любви, уважения и веры. И вместе с тем это его свидетельство: похитив огонь у маленьких домашних богов, скопидомов, он признает, что любит их больше, чем Живого Бога, и верит в ложных богов больше, чем в Бога истинного. Открыв сердце ненастоящим богам и похитив у них огонь, (на самом деле, его собственный) он выказал им высочайшее уважение. Он отдал им все, чтобы показать, насколько он предпочитал их ничтожность Богу Живому и даже себе самому!

Христос на кресте меньше всего похож на Прометея, прикованного к скале. Ибо Прометей думал, что должен сойти в ад и украсть то, что Бог и так постановил отдать ему. А Христос, обладавший всеми сокровищами Бога и всей бедностью Прометея, сошел в ад с огнем, пылавшем в сердце, которого так искал Прометей. Он Сам обрек себя на смерть рядом с разбойником Прометеем, чтобы показать ему, что Бог не может оставить ничего для Себя одного.

Не убивая человека, ищущего божественного огня, Живой Бог сам пройдет через смерть, чтобы человек получил то, что ему предназначено.

Если Христос умер, воскрес из мертвых и излил на нас огонь Духа Святого, почему же мы думаем, что наша жажда жизни – это Прометеево желание, обреченное наказанию?

Почему мы ведем себя так, словно Богу не угодно наше стремление «видеть хорошие дни», когда Он сам заповедал нам искать их? Почему упрекаем себя за то, что желаем победы? Почему гордимся нашими поражениями и упиваемся отчаяньем?

Потому что мы считаем, что наша жизнь важна для нас одних, и не знаем, что для Бога Живого она важнее, чем для нас самих.

Потому что мы думаем, что наше счастье – только наше, и не понимаем, что это и Его счастье.

Потому что мы думаем, что наши скорби – только наши, и не верим в то, что это и Его скорби.

Нет ничего, что мы могли бы похитить у Него, потому что прежде, чем мы об этом подумали, нам это уже было дано.

The Behavior Of Titans

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

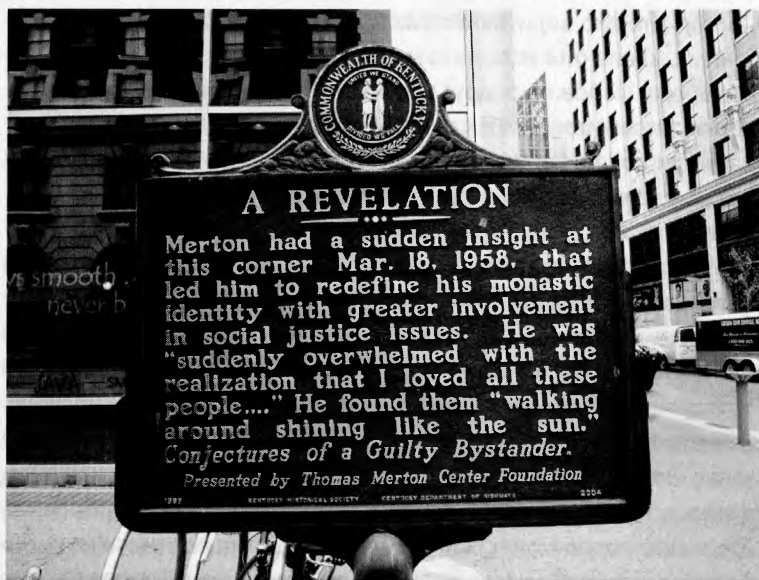
<...>

В Луисвилле, на углу Четвертой и Ореховой, посреди торгового района меня вдруг поразило ощущение, что я люблю всех этих людей, что они принадлежат мне, а я – им, что мы не чужие друг другу, хотя и не знакомы. Я словно пробудился от сна разделенности, от ложной замкнутости в своем особом мире, где царит отчуждение и мнимая святость. Всякая иллюзия отдельного святого существования – сон, мираж. Я не сомневаюсь в подлинности своего призвания, в правильности выбранного пути, но идея «отделенности от мира», которую исповедуют в монастырях, совершенно иллюзорна: дав обеты, мы не становимся существами другого вида, «духовными», ангелоподобными людьми внутренней жизни.

Конечно, эти традиционные духовные ценности ощутимо присутствуют в повседневной жизни. Поэтому мы не вправе презирать тех, кто живет в миру: хотя мы «не от мира сего», мы все-таки живем в том же мире, что и все остальные, в мире бомб, расовой ненависти, технологий, средств массовой информации, большого бизнеса, революций и прочего. Мы по-другому относимся ко всем этим явлениям, потому что принадлежим Богу. Но и все остальные принадлежат Ему. Просто мы это осознаем и исповедуем. Но вправе ли мы считать себя другими или лучше остальных? Нелепая мысль.

Какое облегчение, какая радость освободиться от мнимых различий! Я чуть не рассмеялся. Наверное, мое счастье можно было выразить словами: «Благодарю Бога за то, что я, как все остальные люди, что я – лишь один из всех». Подумать только: почти двадцать лет я всерьез относился к иллюзии, столь характерной для монашеского мироощущения!

Что за славная участь – принадлежать к роду человеческому, хотя он и занимается всякой чепухой и совершает страшные ошибки; а все-таки Сам Бог прославил его, став одним из нас! Эта общеизвестная истина ошеломила меня, словно я выиграл счастливый билет в какой-то грандиозной лотерее.



Мемориальная доска, посвященная Томасу Мертону в Луисвилле

Я испытываю огромную радость от того, что я – человек, представитель рода, в котором воплотился Сам Бог. Словно страдания и глупости нашей жизни подавляли меня, а теперь я понял, кто мы такие. Если бы все могли это постичь! Но это невозможно объяснить. Невозможно объяснить людям, что все они ходят по земле, сияя, как солнце.

Это не меняет смысла и значения моего одиночества, ибо оно помогает человеку понять все несравненно яснее, чем это могут сделать те, кто погружен в суету и заботы, в иллюзии и автоматизм коллективного бытия. Однако мое одиночество не принадлежит мне одному, сейчас я понимаю, насколько оно принадлежит всем, и я ответственен за него перед всеми, а не только перед собой. Раз мы едины, я должен быть один, а когда я один, они уже не «они», а я сам. Чужих нет!

Затем я внезапно узрел тайную красоту и глубину их сердец, недостижимую для греха и самопознания, суть их бытия, лич-

ность, которую видит в них Бог. Если бы они могли увидеть себя такими, какие они есть на самом деле. Если бы мы могли вот так все время любоваться друг другом, не было бы ни войн, ни ненависти, ни жестокости, ни жадности... Мы бы благоговейно преклонили колени друг перед другом. Но этого нельзя увидеть, в это можно только поверить и «постичь», если дано свыше.

И здесь мне вспоминается непере译имое выражение “le point vierge”. В сердцевине нашего существа есть точка, которую можно назвать «ничто», которой не касается грех и иллюзия, точка чистой истины, точка или искра, полностью принадлежащая Богу, а не нам, из которой Бог распоряжается нашими жизнями, точка, недоступная нашему воображению или жестокой воле. Эта точка пустоты и *совершенной нищеты* – чистая слава Божья в нас. Это, образно говоря, Его имя, вписанное в нас, – наша ничтожность, наша нищета, наша зависимость от Бога, наше сыновство. Она подобна чистому алмазу, блистающему незримым небесным светом. Она есть в каждом, и если бы мы могли ее видеть, то узрели бы мириады лучистых точек, сливающихся воедино в лице, и блеск солнца, затмившего бы всю тьму и жестокость жизни... Я не знаю, как научить подобному зрению. Оно дается свыше. Но врата в небо открыты повсюду.

Conjectures Of A Guilty Bystander

ДОБРЫЙ САМАРЯНИН

«Кто мой ближний?»

В ответ на этот вопрос Христос рассказал притчу о добром самарянине.

Прежде всего, вспомним: если для нас самаряне – добрые, то для первых слушателей этой притчи все обстояло несколько иначе. В их глазах самаряне были плохи просто в силу того, что они самаряне. Потому-то самарянин и становится героем притчи: слушателям предлагалось понять, что хотя бы один из них может быть добрым.

С другой стороны, мы легко отождествляем себя с самарянами и потому воспринимаем их добрыми. В наших глазах все они добры, потому что мы считаем себя самарянами. Если мы относимся к себе как к добрым самарянам, может быть, мы думаем, что евреи не столь добры, как мы сами? В таком случае мы вообще не поймем притчу, ибо будем воображать, что священник и левит прошли мимо избитого человека именно потому, что были евреями. И мы будем думать, что тот, кто ему помог, сделал это потому, что был самарянином и в то же время добрым.

Но если мы так толкуем притчу, мы не понимаем ее смысла. Ибо ни еврей, ни самарянин не является нашим ближним в каком-то особом или лестном для нас смысле.

Вернемся к нашему вопросу: «Кто мой ближний?» Это второй вопрос законника. Первый, которым он искушал или хотел смутить Христа, был: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк 10:25) Вопрос столь важный, что без ответа на него нельзя жить. И заметьте, он задает этот вопрос Тому, о Ком мы читаем: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17:3). Поскольку ответ на этот важнейший из вопросов доступен каждому, законник должен был его знать. И он действительно его знал. Ему не следовало задавать этот вопрос. Господь ясно показал это, сказав: «Какая есть первая заповедь?» Когда законник ответил, что первая заповедь – «Возлюби Бога и ближнего», Христос повелел

ему соблюдать ее, чтобы иметь жизнь вечную. Законник понял, что его вопрос отпал, но чтобы показать, что все не так просто, законник снова спрашивает: «Кто мой ближний?»

Можно предположить, что он имел в виду: ему не трудно любить Бога, поскольку «Бог благ», но любить ближнего трудно, так как одни люди лучше других и все несовершенно. Дело обстояло именно так, и чтобы удержаться от любви к недостойному предмету и тем самым не растратить любовь впустую, он хотел знать, где провести грань. Кто ближний, которого нужно любить, а кто чужой, которого любить не надо? То есть речь идет о делении на группы, а значит и о суде, ибо делить на группы значит судить. Как делить людей и как судить, достойны ли они любви, ненависти или безразличия? Хороший вопрос. Но для Господа этот вопрос не имел значения, ибо Он сказал: «Не судите, и не судимы будете». Не делите людей на группы и не будете причислены ни к одной группе.

Притча, как мне кажется, не отвечает на этот вопрос или, по крайней мере, не отвечает на него прямо. Законник говорит: «Как я узнаю, кто мой ближний, чтобы подарить ему любовь, заповеданную Богом?» И Христос приводит в пример человека, который нуждается в любви и получает ее от того, кто не входит в категорию «ближнего». И все же самарянин представляет собой «ближнего», поскольку он дарит ему свою любовь. Таким образом ответ больше вопроса. Ответ разрушает узел, скрытый в вопросе.

Христос не говорит книжнику, как судить и делить людей, а учит его, что всякое деление людей на группы не имеет значения в деле любви. Мы не любим и не можем любить кого-то лишь потому, что он принадлежит к какой-то группе. А если думаем, что любим, то наша любовь ущербна. Настоящая любовь свободна; она не зависит от того, насколько желанен ее предмет, но любит ради себя самой. Если любовь подчинена предмету, чему-то, что вне ее, она себя губит. Если мы одаряем добром предмет своей любви, то любовь растет и расцветает. Ибо природа любви – от-

давать, так же, как получать. Она отдает и получает, но сначала отдает, и, отдавая, получает. Если мы думаем получить нечто от того, кого начинаем любить, то мы никогда его не полюбим.

Если человек должен быть мне приятен, должен утешить и ободрить меня, прежде чем я полюблю его, то я не смогу по-настоящему любить его. Это не значит, что любовь не может утешить или поддержать! Но если я с самого начала требую, чтобы меня поддерживали, я никогда не осмелюсь полюбить. Если человек должен быть евреем или христианином, прежде чем я полюблю его, то я не смогу его любить. Если он должен быть черным или белым, прежде чем я смогу полюбить его, то я не сумею этого сделать. Если он должен принадлежать к моей политической партии или общественному классу, прежде чем я смогу полюбить его, если он должен носить мою униформу, тогда моя любовь уже не любовь, потому что она не свободна, а продиктована чем-то, что находится вне меня. В ней преобладает влечение, потребность, а не любовь. Я люблю в нем не личность, а его положение, принадлежность к определенной группе и люблю не как человека, а как вещь. Я наклеиваю на него ярлык и сам ношу ярлык. Но в таком случае я не люблю даже себя. Я ценю себя не за то, что я есть, а за принадлежность к группе. Поэтому остаюсь во власти сил, которые находятся вне меня, и те, кто мне кажутся ближними, на самом деле, мне чужие, ибо я сам себе чужд.

Возможно, вы считаете, что смысл притчи в следующем: все люди должны быть любимы, потому что они люди. Потому что они принадлежат к роду человеческому и имеют одну природу. Нет, смысл ее не в этом. Тогда мы бы просто отнесли всех людей к одной большой категории «человек». Христос имеет в виду нечто большее и дает более глубокий ответ. Его ответ – божественное откровение, а не естественный нравственный принцип. Его ответ таинственный, в каком-то смысле загадочный. Однако если мы подойдем как можно ближе к источнику этого откровения, мы глубже проникнем в эту тайну.

Притча о добром самарянине – это откровение Бога через слово, которое имеет огромное значение в Писании. Это откровение, о котором говорит пророк Осия от лица невидимого Бога: «Милости прошу, а не жертвы». Что же это за милость, о которой все время говорится в Писании, особенно в Псалмах? В Вульгате слово *misericordia* звучит громко, как церковный колокол. Милость – это «бремя» или «bourdon» – колокол и лейтмотив всей Библии. Но еврейское слово, которое мы передаем как «милость», как *misericordia*, говорит о чем-то большем.

Chesed (милость) – это еще и верность, и сила. Это верная, неизменная милость Божья. Она абсолютна и безотказна, потому что это сила, которая связывает одного человека с другим заветом сердец. Это сила, которая привязывает нас к Богу, потому что Он обещал нам милость и никогда не нарушит Своего обещания. Ибо Он не может обмануть. Это сила и милость, которые присущи Ему более всего остального и ближе всего подходят к тайне, в которую мы входим, когда все наши идеи меркнут.

Есть и другие свойства Божьи, которые нам понятней. Они то и дело появляются в Писании как нечто условное, приблизительное. Ибо наши представления о Боге не полны и не точны, поскольку все они в той или иной степени – аналогии. Скажем, метафора гнева Божьего, когда на самом деле Он не гневается. Он, действительно, изливает свой гнев и судит. Он наказывает и бьет. Но когда мы говорим, что Он это делает, то Он делает не это, а что-то другое, чего мы не понимаем. И когда говорят, что Он гневается, то это нам только кажется. Мы говорим, что мы на Его месте разгневались бы и нанесли удар. Но «мои мысли не ваши мысли, – говорит Господь» (Ис 55:8), и куда ближе к истине то, что возникает на трансцендентном уровне, где гнева нет. Это неизменное солнце за проплывающими облаками – другими свойствами Бога. Еврейское слово *chesed* раскрывает тайну неизменности, постоянства.

Что сказано у Исаии?

Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой.

На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию восприму Тебя.

В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостию помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. (Ис 54:6-8).

И Осия говорит, что Господь хочет называться не Господом, а «мужем», ибо Господу поклоняются со страхом, а не с любовью, как Ваалу, а не Спасителю. Ибо у Ваала нет chesed. Власть Ваала страшна и своенравна, но не достигает глубин нашего сердца. Chesed, напротив, может завладеть нашими сердцами и преобразить их. Поэтому сказано:

И будут в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой» и не будешь более звать Меня: «Ваали» (Господин мой).

И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их (Ос 2:16-17).

Chesed больше, чем милость. Оно содержит в себе разные оттенки Божьей любви, которые просвечивают в милости и являются ее скрытым источником. Вспомним, как Бог открыл себя Моисею на Синае. Сначала Моисей просил показать ему Свое лицо, и Господь ответил: «лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Моисей страстно хотел увидеть Его, и Господь показал Себя, не показывая. То есть «прошел мимо» Моисея, который увидел Его сзади. Моисей видел Бога, не видя, то есть увидел Его, когда Он уже скрылся. Но «Он был» там (Тот, кто повсюду и нигде). Моисей сначала узнал Его в полной тьме, не видя Его, а потом узрел Его в свете-после-тьмы, не зная Его. Сначала темная вспышка, Его промельк и ночь, потом крики и слова, вырванные из сердца тьмы, и тайна пробуждения. Великие слова, вырвавшиеся из сердца Моисея, взорвались в разных формах и оттенках и создали образ chesed:

И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.

Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода (Исх 34 :6–7).

Chesed – это милость, которая дается даром, независимо от того, достойны ли мы ее и ответим ли на нее. Господь смотрит на виновных и своим взглядом делает их невиновными. Кому-то этот взгляд кажется гневом, и они бегут от него. Но если они смело встречают этот взгляд, то понимают, что это любовь и что они невиновны. (Их бегство и смущение от собственного страха делает их виновными). Chesed Божья – это правда. Это непогрешимая сила. Это любовь, с которой Он ищет и избирает Избранных и привязывает их к Себе. Это любовь, которой Он сочетался с человечеством брачными узами, так что если человечество неверно Ему, оно все же должно ответить на Его верность: Он неотделим от человека в милости, которую мы называем Воплощением, в Страстях и Воскресении. Он дал нам Свою милость в Лице Духа Святого. Утешитель – это полная, невыразимая тайна chesed. Так в глубинах нашего бытия есть неиссякаемый источник милости и любви. Все наше существо стало любовью. Наше «я» стало любовью Божьей к нам, оно наполнено Христом и милостью. Но мы должны обратиться к ней и принять ее. Мы должны принять себя и других как chesed. Мы должны быть для себя и для других знаками и таинствами милости.

Chesed, милость и сила зримо проявляются в хасиде (chasid) или праведнике. Праведник – это человек, чья жизнь погружена в chesed Божью. Хасид – орудие божественной милости. Через него любовь Божья приходит в мир как зримая тайна, тайна бедности и любви, кротости и силы. Хасид во многих отношениях юродивый, ставший смешным из-за этой милости. Явная трагедия его ничтожности оборачивается радостью. В его юродстве просвечивает бо-

жественная мудрость, и его полное уничтожение – новое творение, так что он радуется нелепости божественных милостей и вечно дивится созидательной любви Божьей. Он зовет всех людей восхвалить эту любовь вместе с ним, и большинство из них не обращают на него никакого внимания. Но солнце и луна, море, холмы и звезды присоединяются к нему, воздавая хвалу милости Божьей. Большинство людей, вероятно, считают его безумным.

(Бог тоже радуется тому, что Его и Его хасида считают безумным. Ибо мудрость Божья – безумие в глазах людей).

Юродство хасида проявляется в любви и заботе о ближнем, о грешнике. Они так близки друг к другу, так похожи друг на друга, что иногда почти неотличимы. Профессионально религиозный человек, напротив, строит свою карьеру на том, что явно отличается от грешников. Богу и людям должно быть ясно, что он и грешник принадлежат к разным кастам. Поэтому любовь хасида к грешнику (и грешника к хасиду) не покровительство и забота благочестивого и почтенного, а непрактичная забота человека, который ведет себя так, словно он – мать грешника. Такой человек поступает, как самарянин в притче, а не как священник и левит, которые прекрасно знали о приличиях, классах и категориях. Быть может, священник взглянул на человека, лежащего в канаве, и увидел, что он весь в крови, а это означало ритуальную нечистоту. Особенно здесь, в пустыне, вдали от воды. Почтенные люди, чья жизнь измеряется долгими официальными церемониями, не могут быть орудиями Божьей милости – они заняты другими, более важными делами.

Так кто же мой ближний? Кому я обязан? Кого должен любить?

Вопросы не слишком разумные, и четких ответов на них нет. Пытаясь найти эти ответы, мы окончательно запутаемся. Любовь выходит за рамки всех классов и категорий. Мера любви, которую установил Христос, превосходит всякую меру: мы должны быть совершенны, как совершенен Отец Небесный. Но что значит «совершенство» Отца Небесного? Это беспристрастие не в смысле справедливости, которая отмеряет всем поровну по за-

слугам, а в смысле *chesed*, которая не знает деления на добрых и злых, праведных и неправедных. «Ибо он посылает дождь на праведных и неправедных».

Мы связаны с Богом милостью. Сила его милости овладела нами и не отпустит нас, поэтому мы стали юродивыми. И поскольку мы опустошились в этом юродстве, ниспосланном нам Богом, нас может коснуться Его непредсказуемая мудрость, и мы начинаем любить тех, кого любим, и помогаем тем, кому помогаем, не по своей воле, а в меру, соответствующую скрытой от нас воле Божьей, которая не знает меры. В этом безумии, юродстве, которое есть действие Его Духа, мы должны любить, прежде всего, беспомощных, которые ничего не могут для себя сделать. И мы должны принимать любовь от них, понимая нашу собственную беспомощность и неспособность позаботиться о себе. Благодаря *chesed*, мы подобны отщепенцам и грешникам. *Chesed* поставила нас в один ряд с изгоями и чужаками и не только отняла у нас разум, но в глазах Божьих вычеркнула из любой группы людей. Так что у нас нет ни дома, ни семьи, ни положения в обществе, ни официальных обязанностей. Мы даже не кажемся особенно милосердными и не можем гордиться своими добродетелями. *Chesed* отняла у нас все, ибо тот, кто жив одной милостью Божьей, не будет жить ничем иным, кроме этой милости. *Plenitudo legis est charitas*. «Любовь есть исполнение закона» (Рим 13:10).

Значит, тайна доброго самарянина – это тайна *chesed*, силы и милости. В конце концов, Сам Христос лежит раненый у дороги. И Христос приходит в образе доброго самарянина. И связь, сострадание и понимание между раненым и самарянином – тоже Христос. Так Церковь создается из живых камней, спянных друг с другом милостью. С одной стороны, беспомощный человек, избитый до полусмерти, с другой, – изгой без нравственных устоев, и один склоняется над другим с состраданием, чтобы понять другого, а затем происходит Богоявление и пробуждение. Есть «человек», реальность стала человеческой, и в ответ на сострадание Бог открывает Себя на земле, и светлое облако Его величия

осеняет их нищету и любовь. Возможно, все это выглядело достаточно безотрадно. Их встреча не похожа на голливудское кино. В ней нет ничего чарующего. Она могла быть жалкой и неприглядной. Но в ней явлено присутствие Божье на земле, Христос здесь, и Бог соединяется с человеком.

Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что должны «творить волю Божью». Мы должны не только соблюдать заповеди, молиться и быть святыми, но мы должны быть орудиями Его милости, связав себя и других с Богом узами *chesed*.

Значит два вопроса, которые задал книжник, бессмысленны. Поэтому Христос не ответил на них. Однако, он не оставил их без внимания. Напротив, Он увидел в них указание на то, что волнует книжника и нас с вами. Вместо того чтобы ответить на эти вопросы, Он Своим словом возливает на раны елей и вино, Он, который сам есть ответ на все важнейшие вопросы.

Good Samaritan

ВРЕМЯ КОНЦА – ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА

Примечание: В Библии слово «Конец» не обязательно означает «насильственный, внезапный и плохой конец». Библейскую эсхатологию не нужно путать с нашими тревожными, дурными предчувствиями. Мы живем в эпоху двух наслаивающихся друг на друга эсхатологий: светской с ее тревогами и надеждами и библейской. Иногда первое ошибочно принимают за второе, а иногда тревога проистекает из полного отрицания и безнадежности свершившегося. *Растущий страх насильственного конца* рано или поздно становится слегка прикрытым *ожиданием такого конца*, порождает в нас растерянность и отчаяние. С другой стороны, он ставит нас лицом к лицу с библейской эсхатологической надеждой – ибо каждый из нас должен будет принять ее или отвергнуть. Именно этот выбор предлагает нам сделать библейская эсхатология. Говоря о «последних временах», мы имеем в виду оба значения слова «конец», (о которых автор говорил выше).

Но нужно четко понимать, что для автора это не вопрос предсказаний или апокалиптических предчувствий, а лишь трезвый взгляд на духовный климат нашего времени, времени конца и завершения.

Когда совершенная и величайшая весть, которая названа Радостью Великой, безмолвно вспыхивает над миром, уже нет места для грусти. Поэтому все обстоятельства евангельского Рождества, какими бы заурядными они ни казались, нужно рассматривать в контексте Великой Радости. В том особом и божественном свете, который окружает своим сиянием грядущее в мир Слово, все обыденное преображается. Когда возвещается тайна примирения, в которую люди, полные подозрений, ненависти и недоверия, не могут поверить, то, даже отвергая Царя примирения, они невольно приобщаются Ему.

Итак, в гостинице не было места. Об этом сказано вскользь, как о чем-то само собой разумеющемся. Евангелист рисует картину чистого мира, чистой радости и привлекает к ней наше

внимание: «И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли» (Лк 2:7). Мы уже это знаем и все же недоумеваем: почему именно в ясли, хотя причина проста: «...потому что не было им места в гостинице».

Внимательно читая Евангелия, мы понимаем, что в гостинице не было места по многим причинам, и для них должно было найтись другое место. На самом деле, гостиница – самое неподходящее место в мире для рождения Господа.

Готовя нас к вести о рождении Спасителя, евангелисты напоминают нам, что пришла полнота времен. Настало время окончательного выбора, время милости, «время благоприятное», время конца. Это время покаяния, исполнения всех обетований, ибо Обещанный пришел. Но вместе с приходом конца народы земли погружаются в суматоху и бурную деятельность. Время конца – это время гигантских армий, «войн и слухов военных», огромных толп, бредущих в разные стороны, когда «люди издыхают от страха», время горящих городов и тонущих кораблей, дымящихся земель, технократов, замысляющих великие разрушения. Время конца – это время Толпы. Эсхатологическая весть приходит в мир, где из-за шума движущихся армий и брожения мятущейся черни эту весть едва можно расслышать. Но знающие о том, что христианское благовестие (*kerygma*) предвещает временное торжество власти, гордыни (*hybris*) и разрушения, слышат ее. То, что должно быть судимо, возвещает о себе зловещими и надменными притязаниями на абсолютную власть. Имеющие эти притязания исчислены, отмечены знаком власти, объединяются с властью и будут уничтожены вместе с ней.

Так почему же гостиница была переполнена? Из-за переписи, эсхатологического скопления «целого мира» в пунктах учета, где людей должны были пересчитать и встроить в структуру имперской власти. Цель переписи – учесть всех, кто должен платить налоги, найти тех, кто годен к военной службе в римской армии.

Автор Книги Царств неодобрительно говорит о переписи во времена, когда правителем Израиля был Бог (2 Цар 24). Перепись народа Божьего чужим властителем и полная покорность

народа были эсхатологическим знамением для тех, кто мог его понять и встретить суд с покаянием. В апокалиптических книгах Библии это «собрание всех» или призвание царей земли на брань – великое знамение «конца». Ибо тогда «бесовские духи, творящие знамения, выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» (Откр 16:14). «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством Его» (Откр 19:19). Тогда все птицы соберутся отовсюду в ответ на крик ангела: «Собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них» (Откр 19:18).

Бог-Слово не мог появиться на свет в бесформенной и пассивной массе. Он, действительно, опустошил Себя, приняв образ раба Божьего, человека. Но при этом не стал безликим человеком толпы. Поэтому для Него не нашлось места в толпе, собранной для того, чтобы стать эсхатологическим знамением. И то, что Он родился не внутри этой толпы, – еще более явный знак. То, что для Него нет места, – знамение конца.

Весть о великой радости не возвещается в переполненной гостинице. В многолюдной толпе все время звучат радостные и печальные новости. Там, где каждая новая весть – величайшая, где сегодняшняя беда не имеет себе равных, где ежедневная опасность требует высочайшей жертвы, всякая новость и суд сведены к нулю. Новости становятся просто шумом в голове, сменяя шум, который был перед ними, и уступая шуму, который придет после, так что в конце концов все сливается в один монотонный и бессмысленный гул. Новость? Так много новостей, что не осталось места для истинной новости, «Радостной вести», Великой радости.

Поэтому Великая радость возвещается в тишине, одиночестве и тьме пастухам, «жившим в полях», вдали от молвы и многолюдных толп. Это малый остаток, кочевники, жители пустыни, истинный Израиль.

Хотя прийти на перепись повелели «всему миру», кажется, что эти пастухи безучастны. Конечно, они пришли туда, как Иосиф и Мария, но остаются в стороне от всеобщего возбуждения, их не захватывает движение сотен и тысяч людей в селениях и городах.

Они отмечены иным знаком. Их осиял великий свет, они получают весть о Великой Радости и принимают ее с радостью. Они видят над собой шехину, и им открывается их предназначение. Они – малый остаток, люди неучтенные и потому избранные – *anawim*. Они послушно следуют за звездой. Ничего большего от них и не требуется.

Они идут и видят не пророка, не дух, а Плоть, в которой откроется слава Божья и через которую все люди будут избавлены от мирской власти, которая стремится уничтожить мир, потому что мир сотворен Богом; власти, которая хочет занять место Творца и при этом расхищает и истощает богатства щедрой, дарованной нам Богом земли.

Мы живем во времена, когда всем не хватает места, то есть в конце времен. Все экономят время, отвоевывают пространство, проецируя во время и пространство свою тоску и страдание, порожденные технологическими демонами: размером, объемом, количеством, скоростью, числом, ценой, силой и ускорением.

Древнее благословение «плодитесь и размножайтесь» обернулось нескончаемым ужасом. Нас уже несколько миллиардов, и плотно упакованные, марширующие, исчисленные, обложенные налогами, вымуштрованные, выжатые на работе до бесчувствия, ошавевшие от информации, пресытившиеся развлечениями, обожравшиеся всем и вся, мы испытываем отвращение к роду человеческому, к самим себе и к жизни.

Когда приближается конец, нет места природе. Города стирают ее с лица земли.

Когда приближается конец, нет места тишине. Нет места одиночеству. Нет места для мысли. Нет места для внимания, для осознания нашего положения.

Во времена абсолютного конца нет места для человека.

За это отвечают те, кто сожалеют о том, что нет места для Бога. Не усугубляют ли они общий крах, проповедуя холодного, бесчувственного Бога, который отчуждает человека от самого себя, мрачно утверждая Себя как неумолимый объект в сердце человека и доводя человека до отчаяния?

Время конца – это время бесов, которые заполняют сердце (притворяясь богами), так что сам человек не находит для себя места в самом себе. Он не находит пространства для отдыха в своем сердце не потому, что оно заполнено, а потому что оно пусто. Если бы он знал, что сама пустота, осененная Духом, – бездна для творчества. Он не может в это поверить. Нет места для веры.

Для человека нет места в толпах эсхатологического общества, в обществе конца, где все, для кого здесь нет места, скучены, стиснуты, выброшены в водоворот пустых форм, призраков, бесцельно кружащихся по городам с одним желанием *никогда не родиться на свет*.

Во времена конца больше нет места для жажды жизни. Время конца – это время, когда люди призывают горы пасть на них, потому что не хотят жить.

Почему? Потому что они поддерживают жизнь, которая запрограммирована на смерть. В жизни, которая не была выбрана и едва ли может быть принята, нет места для надежды. Однако она должна притворяться, что продолжает надеяться. Ее преследует демон пустоты. Из этой невыразимой пустоты возникают армии, ракеты, оружие, бомбы, концлагеря, расовые конфликты и другие преступления массовых обществ.

Что это – пессимизм? Или признать то, что чувствует каждый, – непростительный грех? Пессимизм ли диагностировать рак? Или человек должен притворяться, что с каждым днем жизнь становится лучше, потому что время конца – по крайней мере, для некоторых – это время великого процветания? («...цари земные любодествовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее») (Откр 18:3).

В этот мир, в эту гостиницу для умалишенных, где нет места для Него, Христос пришел без приглашения. Но поскольку это

не Его дом, поскольку Он здесь неуместен и все же должен здесь быть, Его место с теми, для кого тоже нет места. Его место с теми, кто всюду чужие, кто отвергнут властью, потому что их считают слабыми, с теми, кому не доверяют, кто не имеет права быть личностью, кого пытаются и убивают. Христос присутствует в мире рядом с теми, для кого нет места. Он таинственным образом присутствует в тех, для кого существует только самое худшее, что есть в мире. Для них нет спасения даже в воображении. Они не могут быть заодно с властью скученного человечества, которое выбрасывает себя вовне, куда угодно, в центробежном полете в пустоту, чтобы выскочить там, где нет Бога, нет человека, нет имени, нет личности, нет веса, нет самого себя, нет ничего, кроме яркой, направленной на себя, абсолютно послушной и баснословно дорогой техники.

Для тех, кто достаточно упрям, достаточно предан власти, остается последний апокалиптический миф о ракетах и спутниках, покоряющих космос, пока земля заполняется бомбами!

А как же остальные? Они остаются пленниками других надежд и более прозаического отчаянья, приземленного отчаянья и надежды, низведенной до уровня улицы, вернее тротуара, они желают быть хотя бы полулюдьми, желают вкусить хоть немного человеческой радости, выполнять пристойную работу, участвовать в производительном труде, иметь семью... И для этих желаний нет места. В этих людях скрыт Он сам, для Которого нет места.

Время конца? Отлично. Но когда?

Неуместный вопрос.

Сказать, что это время конца, значит ответить на все вопросы, ибо время конца – это время великой скорби и, прежде всего, – Великой Радости. Это время поднять головы, «ибо ваше искупление близко». Это время, когда обетование исполнится и для всех будет явным. Это время радости, которую нам дает Бог не так, как дает мир, и которую у нас никто не отнимет.

Ибо истинный эсхатологический пир не тот, где птицы соберутся на телах убитых. Это праздник живых, брачный пир Агнца. Истинный эсхатологический созыв это не стягивание армий на

поле брани, а призыв к Великой Радости, крик избавления: «выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр 18:4). Крик, раздающийся во времена конца, вырвался в начале времен в Содоме из уст Лота, обращавшегося к зятям: «встаньте, выйдите из сего места; ибо Господь истребит сей город. Но зятям его показалось, что он шутит» (Быт 19:14).

Покинуть город смерти и рабства, конечно, не плохая весть для людей, за исключением тех, кто так сжился с рабством, что не может себе представить другой реальности и других обстоятельств. Тогда не остается ничего, кроме скорби: если оставаться в плену трагично, то вырваться из него невысказанно и еще более трагично.

Нужны благодать и мужество, чтобы увидеть, что «Великая Скорбь» и «Великая Радость» нераздельны, и что Скорбь становится «Радостью», если ее принять как победу жизни над смертью.

Конечно, в каком-то смысле в этой скорби нет места для радости. Сказать, что в скорби «конца» «нет места» для Великой Радости, значит сказать, что евангельскую радость не нужно путать с радостями, которые предлагает мир во время конца. Мы должны признать, что это никакие не радости. Они превратились в стоические обязанности и жертвы, которые нужно приносить, не задавая вопроса о целях. Эти цели сейчас нельзя описать, потому что наш взор застилает дым и видимость плохая. В результате «радость», предложенная временем конца, – просто удовольствие и облегчение от того, что со всем покончено...

Таково демоническое искушение «конца». Ибо эсхатология это не конец и наказание, не подведение итогов и захлопывание книг, это окончательное начало, безусловное рождение в новое творение. Это не последний отчаянный вздох, а предвкушение жизни будущего века.

Но можем ли мы в это поверить? (...им «показалось, что он шутит»).

ГОРИЗОНТЫ

МИСТИКА В АТОМНЫЙ ВЕК

Человечество переживает величайший кризис в истории, потому что на весах лежит сама вера. Смятение, охватившее пять континентов, когда все боятся быть уничтоженными, поставило многих на колени. Это обстоятельство не должно порождать у нас иллюзию, что мир непременно вернется к Богу. Тем не менее разоблачение мифов XIX в. о «безграничном прогрессе» и «всесилии» естественных наук сбило мир с толку. Многие люди стихийно обращаются к единственной очевидной надежде на духовное и нравственное единство – порядок, который покоится на философской и богословской истине и позволяет основному религиозному инстинкту человека свободно себя выразить. Это движение столь грандиозно, что даже такой авторитетный психолог, как Карл Юнг, заявляет следующее:

Я лечил сотни пациентов, многие из которых были протестантами, некоторые – евреями, пять или шесть – католиками. Во второй половине жизни среди моих пациентов... не было ни одного, чьи трудности, в конечном счете, не сводились к поиску религиозного мировоззрения. Они заболели, утратив то, что живые религии во все времена давали своим последователям, и ни один из них не излечился, пока не обрел религиозного мировоззрения¹⁷.

Важнейшая проблема, с которой сталкивается христианство, отнюдь не враги Христовы. Гонения никогда не причиняли особого вреда внутренней жизни Церкви. Настоящая религиозная проблема существует в сердцах тех из нас, кто в душе верит в Бога и признает свой долг любить и служить Ему и все же не делает этого!

Мы бы запутались, если бы все свели к извращенной и злой воле. Сейчас не время для обвинений и осуждений. Никто из нас

17 Юнг К.Г. Современный человек в поисках души. – *Примеч. авт.*

не может позволить себе возложить вину за постепенный упадок христианского духа на других, и все же именно это и происходило, пока мир, наконец, не вступил в постхристианскую эру. Виноваты все: и мы, и наши отцы, и возможно сама идея «вины» также достойна осуждения. Когда христианские перспективы искажены, религия надежды превращается в одержимость виной, и чтобы избежать этого гнетущего, невыносимого чувства вины, мы бросаемся в деятельность, которая, как нам кажется, должна изменить мир и нас вместе с ним. В результате этого давления, которое оказывает неутомимое на благие дела христианство, возникают потрясающие силы, которые действительно меняют наш мир. Однако меняясь, мир перестает быть христианским.

Чтобы мир оставался христианским и чтобы приостановить этот ужасающий процесс, отдельные христиане готовы прибегнуть к войне и использовать страшные разрушительные силы, которые открыл современный человек. Это не только бесполезно, но и преступно. На самом деле, это моральное и духовное отступничество от Христа и его заповеди о любви. Разве мы не видим, что рискуя уничтожить человека ради воображаемой славы Христовой, мы вновь распинаем тело Христово в его членах? Великое искушение нашего времени – искушение безбожия, «ядерный крестовый поход». Причина его – ненависть. Постоянная травля и осуждение наших врагов так же дурно, как их постоянные обвинения и осуждение нас. Если мы не перестанем судить друг друга, мы рискуем уничтожить друг друга. Это обстоятельство не отменяет того, что коммунизм – ложное и опасное учение. Однако то, что коммунизм – заблуждение, еще не означает, что наши политики непогрешимо правы.

Мир, в котором мы живем, – сухая земля для семени Божьей Истины. Современный американский город не слишком располагает к тому, чтобы любить Бога. Вы не можете Его любить, пока не познаете Его. И вы не можете познать Его, пока у вас не будет немного свободного времени и внутреннего мира, чтобы молиться, думать о Нем и познавать Его истину. В нашей цивилизации не

так легко найти время и мир. И те, кто служат Богу, часто вынуждены обходиться без того и другого и жертвовать надеждой на внутреннюю жизнь. Но как далеко можно зайти в такой жертве, прежде чем она перестанет быть жертвой и станет уклонением от истины? Правда же состоит в том, что мы не можем посвятить себя Богу, если при этом не ведем внутреннюю жизнь.

Причина этого проста. Все, что мы делаем, служа Богу, должно оживляться сверхъестественной силой Его благодати. Однако благодать дается нам в той мере, в какой мы готовы получить ее с помощью богословских добродетелей: веры, надежды, любви. Эти добродетели требуют полного и постоянного участия нашего разума и воли. Но этой работе часто мешают внешние воздействия, которые ослепляют нас страстью и уводят от возвышенной цели. Их невозможно избежать, но с ними нужно бороться при помощи постоянной самодисциплины: реколлеций, медитаций, молитв, учения, умерщвления желаний и хотя бы толики одиночества.

Конечно, невозможно и даже нежелательно, чтобы каждый христианин оставил мир и поступил в траппистский монастырь. Однако внезапный интерес американцев к созерцательной жизни явно доказывает, что христиане нашего времени должны заново открыть для себя созерцание, аскетизм, умную молитву и отрешенность от мира. Опасность пренебречь апостольским служением и внешней деятельностью не велика. В недавнем послании папа Пий XII обратил внимание на то, что в некоторых общинах придают чрезмерное значение внешней деятельности, и напомнил католикам, что важнее всего – их личная святость и союз со Христом в глубокой внутренней жизни. Его Святейшество пишет:

Мы не можем сдержать нашу тревогу о тех, кто в связи с особыми обстоятельствами нашего времени, так захвачены водоворотом внешней деятельности, что пренебрегают главной обязанностью (христианина) – собственным освящением. Как мы уже открыто заявляли, те, кто полагают, что мир можно спасти «ересью делания», названной

так не без оснований, должны руководствоваться лучшими суждениями¹⁸.

Коммунисты восставали против всего «буржуазного», что налагало на каждого серьезного коммуниста обязанность практиковать строгий и почти религиозный аскетизм по отношению ко всему, что ценится обществом, которое он ненавидит. Говорю, что так было, потому что сталинская империя быстро достигла культурного уровня, когда все самое низменное, что было в буржуазном материализме, стало сталинским идеалом. Христиане должны восстать против материалистического общества и его ценностей. Христианский бунт – это аскетическая революция. Только такой ценой может быть куплено истинное познание Бога.

Люди, живущие в век, который мы сами называли атомным, странным образом научились отстраняться от него и размышлять над нашей историей, словно все происходило пять тысяч лет назад. Нам нравится говорить о нашем времени так, словно мы никак в нем не участвуем. Мы смотрим на него так объективно, словно оно существует вне нас, в каком-то стеклянном ларце. Если вы хотите понять, что такое атомный век, загляните внутрь себя, потому что вы – это и есть он. И я, увы, тоже.

Зло, существующее в современном мире, явно говорит о том, что мы знаем мир не так хорошо, как нам кажется. Странный парадокс: современный человек должен знать очень много, а не знает почти ничего. Парадокс особенно странный потому, что в былые времена люди, знавшие много меньше нас, на самом деле, знали больше.

Конечно, во все времена в мире людей существовала злоба и великая слепота. Нет ничего нового под солнцем; даже водородная бомба не нова (ее предвосхитил наш праотец Адам). Правда и то, что эпохи величайшего отчаянья часто становились веком торжества и надежды. Теперь, когда мы пробудились и осознали наше глубочайшее варварство, кажется, вновь появилась надежда на цивилизованность. Потому что люди доброй воли более,

18 Menti Nostrae, 23 сентября, 1950 – *Примеч. авт.*

чем когда бы то ни было, хотят стать цивилизованными. И теперь, когда мы столкнулись с чудовищным по своему размаху злом, у людей больше стимулов стать святыми, чем прежде. Ибо человек по природе склонен к добру, а не ко злу. Кроме нашей природы, у нас есть нечто бесконечно большее, – благодать Божья, которая властно влечет нас вверх к бесконечной Истине, и получить ее может каждый, кто пожелает.

Все счастье человека и даже его психическое здоровье зависят от его нравственного состояния. Поскольку общество существует не в пустоте, а состоит из индивидуумов, проблемы его могут быть решены лишь в свете нравственной жизни отдельных людей. Если граждане психически здоровы, город будет нормальным. Если граждане – дикие звери, город превратится в джунгли.

Но нравственность не самоцель. Добродетель для христианина не награда. Бог – наша награда. Нравственная жизнь ведет к тому, что находится за ее пределами, – к союзу с Богом и нашему преображению в Нем. Это преображение завершается в другой жизни, в свете славы. Однако даже на земле человеку может быть даровано предвкушение рая через мистическое созерцание. Ощущает он это или нет, человек веры в силу своей веры уже живет на небе. *Conversatio nostra in coelis!* Наше общение на небесах!

Хотя созерцание – удел немногих, оно имеет значение для всего человечества в целом.

Если спасение общества, в конечном итоге, зависит от нравственного и духовного здоровья отдельных людей, предмет созерцания становится чрезвычайно важным, поскольку созерцание – один из знаков духовной зрелости. Оно тесно связано со святостью. Наш мир нельзя спасти с помощью системы. Нельзя обрести мир душевный без любви. Общественный порядок невозможен без святых, мистиков и пророков.

II

Если мы хотим реализовать наши лучшие способности и достичь хотя бы некоторого счастья, доступного человеку, мы

должны следовать по тому пути развития, который предписывает нам наша природа. Этот путь нужно правильно понять и пройти его основные вехи. Но можно сказать иначе и очень просто: *мы должны познать истину и полюбить ее*, и действовать в меру нашей любви.

Что же повелевает нам наша природа? *Во-первых*, – приспособиться к объективной реальности. *Во-вторых*, – употребить на это свои высшие способности – разум и волю. *В-третьих*, – подчинить воле свое естество и действовать нравственно, плодотворно, свидетельствуя о том, что мы живем в полной гармонии с истинным порядком вещей.

Иначе мы рискуем утратить свое психическое и духовное здоровье.

Я говорю о нашей природе для того, чтобы показать, что созерцание раскрывает ее на куда более высоком уровне, невозможном без благодати. Оно соединяет нас не с отвлеченной истиной, а с самой Реальностью, с Жизнью. Любовь, которая это совершает, есть дар Божий. Бог рождает ее в нас Своим прямым действием. Конечный и совершенный плод ее – жертвенная любовь к ближнему, неизменная и вечная.

Это сложные материи. Вернемся к нашему простому утверждению: когда я говорю, что мы должны знать правду и любить правду, которую знаем, я говорю не о правде индивидуальных фактов и утверждений, а о Правде-Истине как таковой. Истина – это сама реальность как предмет нашего разума. Правда, которую нужно знать человеку, – это трансцендентная реальность, которую лишь частично являют отдельные истины. Поскольку мы сами реальны, эта Истина не так далека от нас, как мы полагаем.

Наша обычная дневная жизнь – убогое существование, в котором большую часть времени мы отлучены от себя и от реальности, потому что заняты суетой, которой поглощено каждое живое существо. Но бывают мгновения, когда мы внезапно пробуждаемся и открываем полный смысл нашей нынешней реальности. Такие открытия невозможно вместить в формулы или определения. Они рождаются в результате личного опыта, непередавае-

мой интуиции. В свете подобного опыта легко увидеть тщету всех пустяков, которые занимают наши умы. Мы восстанавливаем спокойствие и равновесие, которые должны быть у нас всегда, и понимаем, что жизнь – слишком драгоценный дар, чтобы потратить его на что-то иное, кроме самосовершенствования.

В жизни тех, кто оставлен на произвол судьбы в современном мире, кому не на что опереться, кроме собственных сил, мгновения понимания очень кратки и неплодотворны. Человек может увидеть естественную ценность своего духа, но природа сама по себе неспособна реализовать его духовные устремления.

Правда, в которой нуждается человек, не философская абстракция, а Сам Бог. Парадокс созерцания в том, что Бог не может быть познан, пока мы Его не полюбим. И мы не можем полюбить Его, пока не будем творить Его волю. Это и объясняет, почему современный человек, знающий так много, тем не менее пребывает в неведении. Не имея любви, современный человек не видит единственную Истину, которая только и имеет значение, и от которой зависит все остальное.

Бог обнаруживает свое присутствие совершенно особым образом и являет Себя в мире повсюду, где Он познан и любим людьми. Его слава невыразимым образом сияет в тех, кого Он соединил с Собой. Те же, кто пока ничего не знают о Боге, имеют полное право ожидать, что мы, делающие вид, будто знаем Его, не только будем всегда готовы «всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением (1 Пет 3:15), но и свидетельствовать о Нем всей нашей жизнью. Ибо Христос сказал в своей первосвященнической молитве:

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во мне; да будут едино...

И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». (Ин 17:22–23).

Бесполезно познавать правду о Боге и вести жизнь, в которой нет ничего от Креста Христова. Тем самым мы лишь обнаружим полное невежество в том, что такое христианство. Ибо христиан-

ское домостроительство ни в коем случае не философская или этическая система и в еще меньшей степени – общественная теория.

Христос не был мудрецом, который принес новое учение. Он – Бог, воплотившийся для того, чтобы осуществилось мистическое преображение человечества. Конечно, Он принес учение, больше которого не было и не будет. Но это учение не ограничивается нравственными идеями и предписаниями аскетизма. Учение Христа – это семя новой жизни. Преображение человека начинается с того, что он с верой принимает слово Божье. Оно поднимает его над миром и его собственной природой и возносит его мысли и желания на сверхъестественную высоту. Он становится причастником божественной природы, сыном Божиим, и Христос живет в нем. С этой минуты в глубинах его души открывается дверь в вечность, и он способен стать созерцателем. Теперь он видит свет столь ослепительный, что он кажется ему тьмой. Тогда он загорится желанием увидеть полноту Света и возопит к Господу, как Моисей на Синае: «Покажи мне лицо Твое!»

The Ascent To Truth

МОЛИТВА О МИРЕ

Всемогущий и милосердный Бог, Отец всех людей, Творец и Владыка вселенной, Господь Истории, чей промысел непостижим, чья слава чиста, чье сострадание к людям неисчерпаемо, наш мир – в Твоей воле!

Милостиво прими молитву эту, приносимую Тебе из смятения и отчаяния, царящих в мире, где Ты забыт, где Твое имя не призывают, Твои законы осмеивают и Твоего присутствия не замечают. Мы не знаем Тебя, поэтому у нас нет мира.

Из глубины вечного молчания Ты наблюдал за возникновением империй и видел их падение.

Видел Египет, Ассирию, Вавилон, Грецию и Рим, когда-то могущественных и сметенных ветром, как песок.

Ты – свидетель тысяч братоубийственных войн, когда великие державы в буйной ярости раздирали на части целые континенты во имя мира и справедливости.

Теперь нашему народу угрожает опасность новой, еще небывалой войны!

Народ, посвятивший себя свободе, а не власти,

Получил благодаря этой свободе власть, которой не желал.

Стремясь защитить свободу с помощью этой власти, народ оказался в рабстве у власти.

Должны ли мы вести войну, которой не желаем, которая не принесет нам добра?

Ненависть к войне вынуждает нас готовиться к ней.

День страшного решения занимается над нашей свободной страной.

Вооруженные титаническим оружием и убежденные в собственной правоте,

Мы вплотную столкнулись с могущественным врагом, вооруженным тем же оружием, столь же убежденным в своей правоте.

В этот судьбоносный миг, который мы не предвидели, мы не имеем права на неудачу.

Наш выбор мира или войны может решить нашу участь на Страшном Суде.

В этот роковой миг, когда мы должны начать терпеливое со-зидание мира, мы можем сделать последний шаг в бездну хаоса.

Спаси нас от всякой одержимости! Открой глаза наши, развеи нашу растерянность, научи нас понимать самих себя и наших врагов!

Будем всегда помнить о том, что грехи против закона любви ведут к утрате веры.

А те, у кого нет веры, не останавливаются ни перед какими преступлениями для достижения своих целей!

Помоги нам совладать с оружием, которое грозит поработить нас.

Помоги нам использовать нашу науку для мира и созидания, а не войны и разрушения.

Покажи нам, как использовать атомную энергию, чтобы она принесла детям наших детей благословение, а не гибель.

Спаси нас от неудержимого желания подражать нашим врагам в том, что мы больше всего ненавидим,

Утверждая их в подозрительности и ненависти к нам.

Разрешите наши внутренние противоречия, ставшие невыносимыми и невероятными.

В них мучение и вместе с тем благословение: если бы Ты не оставил нам свет совести, нам не пришлось бы терпеть их.

Научи нас быть долготерпеливыми в страдании и беззащитности.

Научи нас ждать и верить.

Просвети нас, дай силу и терпение всем, кто трудится на благо мира, –

Этому Конгрессу, нашему президенту, нашим вооруженным силам и нашим врагам.

Дай нам благоразумие в меру нашей силы,
Мудрость в меру нашей учености,
Человечность в меру нашего богатства и мощи,
И благослови нашу искреннюю решимость помочь всем
расам и народам идти вместе с нами

По дороге справедливости, свободы и прочного мира:

Но, прежде всего, дай нам увидеть, что наши пути не всегда
Твои пути,

Что мы не можем полностью проникнуть в Твои тайные за-
мыслы,

И что даже политические бури, бушующие на этой земле,
Открывают Твою скрытую волю и Твое непостижимое реше-
ние.

Дай нам увидеть Твой лик в молнии этой космической бури,
Святой Боже, милосердный к людям:

Помоги нам искать мир там, где его можно найти!

Господи, наш мир в Твоей воле! Аминь.

Из неопубликованного

ВИДЕНИЕ И ИЛЛЮЗИЯ

Наши земные желания суть тени. В исполнившихся желаниях нет подлинного счастья. Так почему же мы продолжаем искать радость, не имеющую никакого внутреннего содержания? Потому что поиск подменил собой радость. Неспособные успокоиться ни в чем, что мы достигаем, мы стремимся забыть наше недовольство в бесконечном поиске новых удовольствий. В этом поиске само желание становится нашим главным удовольствием. Блага, которые так разочаровывают нас, когда мы ими завладеваем, могут возбуждать наш интерес, ускользая от нас в настоящем или в прошлом.

Мало кто так точно описал эту тонкую психологию иллюзии, как Блез Паскаль:

Иной человек живет, не ведая тоски, потому что ежедневно играет по маленькой. Но попробуйте каждое утро выплачивать ему столько денег, сколько он мог бы выиграть за день, запретив при этом играть, – и он почувствует себя несчастным. Мне, вероятно, возразят, что играет он для развлечения, а не для выигрыша. В таком случае позвольте ему играть, но не на деньги, – и опять он быстро затоскует, ибо в этой игре не будет азарта. Значит, развлечение развлечению рознь: скучное, не оживленное страстью, оно никому не нужно. Человек должен увлечься, должен обмануть себя, убедив, будто обретет счастье, выиграв деньги, хотя не взял бы их, если бы взамен пришлось отказаться от игр; должен выдумать себе цель, а потом стремиться к ней, попеременно терзаясь из-за этой выдуманной цели неутоленным желанием, злобой, страхом, – точь-в-точь как ребенок, который пугается рожи, им самим намалеванной¹⁹.

Святой Григорий Нисский говорит, что жизнь, основанная на желаниях, подобна паутине. Сплетенная вокруг нас отцом лжи, дьяволом, врагом душ наших, эта хрупкая ткань тщеславных и

¹⁹ Паскаль Б. Мысли. – Примеч. авт.

суетных желаний без всякого содержания может нас уловить и крепко держать в плену. Однако иллюзия – всего лишь иллюзия и ничего более. Прорвать эту сотканную дьяволом ложь так же легко, как уничтожить паутину, сплетенную пауком; достаточно одного мановения руки. Святой Григорий говорит:

...все, чего домогаются в этой жизни, есть мечта, а не сущность.<...> Едва опушившиеся и неокрепшие при слабом и не быстром полете, подобно мухам, лакомясь липкостями настоящей жизни, как мрежами какими, оплетаются и опутываются сетью таковых нитей, разумею, забавы, почести, славу и различные пожелания и, как бы обернутые паутинными какими тканями, делаются добычею и пищею этого зверя, уловляющего их такими вещами²⁰.

Основная тема Экклезиаста парадоксальна: хотя «нет ничего нового под солнцем», каждое новое поколение обречено самой природой изнурять себя в поисках «новизны», которой не существует. Эта идея, трагическая, как восточное понятие кармы, содержит в себе великую тайну язычества. Только Христос, только Воплощение, посредством которого Бог вышел из Своей вечности, чтобы войти во время и освятить его для Себя, могли спасти время от бесконечного круга разочарований. Только христианство может по слову апостола Павла «искупить времена». Другие религии могут вырваться из колеса времени, как из тюрьмы, но не могут ничего сделать с самим временем.

Св. Григорий Нисский, размышляя в комментариях к Экклезиасту о психологии привязанности и иллюзии, видения и бесстрастия, замечает, как время плетет вокруг нас эту сеть иллюзий. Недостаточно сказать, что человек, который привязан к миру, привязал себя к нему однажды и навсегда неправильным выбором. Нет, он закручивает вокруг своего духа целую сеть лжи, снова и снова посвящая всего себя несуществующим ценностям. Он истощает себя в поиске миражей, которые постоянно исчезают

20 Св. Григорий Нисский. О надписании псалмов. Даниелу Ж. Платонизм и мистическая теология. – Примеч. авт.

и возникают так же быстро, как исчезают, увлекая его все дальше и дальше в пустыню, где он должен умереть от жажды. Жизнь, погруженная в материю и чувство, может лишь воспроизводить воображаемые муки, которые в греческой мифологии терпит в аду Тантал, умирающий от голода, когда пища находится почти у его губ, или Сизиф, который тащит свой камень вверх на гору, зная, что тот снова и снова будет падать вниз, когда он достигнет вершины.

Так что «суета сует», о которой говорит древний проповедник и его комментатор, – это жизнь, проходящая не просто в путанных мыслях и стремлениях, но, прежде всего, в бесконечной и бесплодной деятельности. Больше того, в такой жизни иллюзия пропорциональна интенсивности этой деятельности. Чем меньше вы имеете, тем больше вы делаете. Последняя иллюзия – это движение, перемена, разнообразие как самоцель.

Все занятия людей в такой жизни (пишет св. Григорий Нисский) – игры детей на песке. Дети наслаждаются своей игрой, и как только они закончили строить, удовольствие кончается. Как только труд завершен, песок рассыпается и от их построек ничего не остается²¹.

Эта глубокая идея часто звучит на страницах Паскаля. Возможно, она послужила основой для его знаменитой теории «развлечения»²². Паскаль знал, что философы, которые смеялись над людьми, целыми днями гоняющимися за зайцем, которого не взяли бы в качестве подарка, не могли постичь всей глубины человеческой глупости. Люди, называющие себя цивилизованными, охотятся на лис не потому, что хотят поймать лису. Точно также они все время занимаются философией или наукой, не потому что хотят познать истину. Нет, они обречены на физическое или духовное движение, потому что для них невыносимо сидеть, сложа руки. Паскаль пишет:

21 Гомилия 1 на Экклезиаста, PG44:628. Даниелу цит. соч. с. 136 – *Примеч. авт.*

22 Я не настаиваю на том, что Паскаль читал св. Григория Нисского. Он мог заимствовать идеи о развлечении у св. Бернара в *“De Gradibus Humilitatis”*. Они продолжают традицию бл. Августина «О Троице». Кн. XII (о грехопадении Адама). – *Примеч. авт.*

Мы ищем отдыха и преодолеваем препятствия, чтобы достичь его. Но если мы преодолеем эти препятствия, отдых становится невыносимым, ибо мы начинаем сначала думать о нынешних несчастьях, либо о тех, которые грозят нам в будущем²³.

Человек был создан для высшей деятельности, которая, на самом деле, для него отдых. Эта деятельность – созерцание. Созерцание нам внутренне присуще и выходит за пределы разума, логики. Ощущая себя виноватым в том, что он неспособен к глубинной деятельности, которая является причиной его существования, падший человек ищет забвения, ибо только оно может удовлетворить его душу, и устремляется к внешним вещам, не столько ради них самих, сколько ради возбуждения, которое приятно усыпляет его дух. Ему только и остается, что заниматься пустяками; они одурманивают его, как наркотик. Они не отменяют страдания, вызванного мыслью, но могут смягчить его трезвый взгляд на самого себя и ощущение своей ущербности.

Паскаль подытожил свои наблюдения следующим замечанием: «Развлечение – единственное, что примиряет нас с нашими несчастьями, и оно же есть величайшее несчастье»²⁴.

Почему? Потому что оно «отвлекает», уводит нас от того единственного, что может помочь нам начать восхождение к истине. Эта единственная вещь – ощущение нашей собственной пустоты, бедности, ограниченности, неспособности сотворенных существ удовлетворить нашу глубочайшую потребность в реальности и правде.

Каков же вывод из всего сказанного? Любя слабый, мерцающий свет иллюзии и желания, мы становимся пленниками лжи. Мы не найдем истинного света, пока этот фальшивый свет не погаснет. Мы не найдем истинного счастья, пока не откажемся от мнимого счастья пустого развлечения. Покой и истинный мир можно найти только через страдание, и мы должны искать свет во тьме.

23 Паскаль Б. Указ. соч. – Примеч. авт.

24 Ibid. с. 75 – Примеч. авт.

II

В христианской традиции существует два направления мистики – богословие света и тьмы. Есть великие богословы света: Ориген, бл. Августин, св. Бернар, св. Фома Аквинский. И есть великие богословы тьмы: св. Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий, св. Хуан де ла Крус. Два направления существуют бок о бок. Современные гениальные богословы объединили два направления, синтезировав св. Фому Аквинского и св. Хуана де ла Круса. Некоторые из величайших мистиков – Рюисбрюк, Тереза Авильская, св. Хуан де ла Крус – описывают оба аспекта созерцания, «света» и «тьмы».

У св. Григория Нисского и св. Хуана есть высказывания, которые перекликаются с учением Патаджали, основателя йоги. Но мы должны помнить, что когда христианский мистик говорит о сотворенном мире как об иллюзии и «ничтожности», это лишь фигура речи. Слова нельзя понимать буквально, и они не онтологичны. Мир метафизически реален. Творения могут привести нас к деятельному познанию и любви к их и нашему Творцу. Но поскольку сотворенный мир присутствует в наших чувствах, и Бог недостижим для чувств и разума, а беспорядочность греха заставляет нас предпочитать чувственные удовольствия всем другим, мы ищем земные блага, словно они – наша важнейшая цель.

Когда Творение является нам в ложном свете похоти, оно становится иллюзией. В нем нет высших ценностей, которые алчность ищет в сотворенных вещах. Тот, кто принимает дерево за привидение, пребывает в иллюзии. Дерево объективно реально, но в его сознании оно представляет собой нечто, чего на самом деле нет. Человек, который принимает скидочный купон на сигареты за реальные деньги, тоже пребывает в иллюзии. Это настоящий купон, и все же считать его десятидолларовой банкнотой было бы чистой иллюзией. Если для нас критерий истины – множество явлений этого мира, если мерой блага мы считаем его расплывчатые ценности, то он (мир) становится для нас иллюзией.

Он реален сам по себе, но для нас перестает быть таковым, потому что он не такой, как мы о нем думаем.

Многие христианские мистики смотрят на мир с точки зрения падшего человека. Поэтому не удивительно, что они называют мир пустым, ничтожным, не предлагая никаких объяснений. Но св. Григорий Нисский вместе со многими греческими отцами, не говоря о западных, видит все стороны этого вопроса.

Созерцание Бога в природе, которое греческие отцы называли *theoria physica*, имеет положительный и негативный аспект. С одной стороны, *theoria physica* – это положительное признание Бога, как Он проявляется в сущностях (logoi) всего. Это не научное постижение природы, а скорее религиозное осознание, которое наделяет душу способностью интуитивно воспринимать Бога так, как Он отражен в Его творении. Этот инстинктивный религиозный взгляд на вещи дается не столько обучением, сколько аскетической отрешенностью. Подразумевается, что положительные и отрицательные элементы «созерцания природы» действительно нераздельны. Отрицательный аспект *theoria physica* есть в равной степени инстинктивное понимание тщетности и иллюзорности всех вещей, рассматриваемых в отрыве от их правильного порядка и соотнесенности с Богом, их Создателем. Комментарии св. Григория Нисского к Экклезиасту, которые мы цитировали, – путь к «созерцанию природы» в двух ее аспектах: как суеты и символа.

Означает ли все это, что *theoria physica* греческих отцов была своего рода вечной диалектикой видения и иллюзии? Нет. В христианском платонизме отцов церкви диалектика уже не так важна, как в трудах Платона и Плотина. Христианское созерцание природы не интеллектуальная игра, а дар различения, когда человек одним пронизывающим взглядом постигает творения. Дар различения и беспристрастность (*krisis* и *apatheia*) – два свойства зрелой христианской души. Они еще не являются отличительной чертой мистика, но свидетельствуют о том, что человек идет по правильному пути мистического созерцания и что начальная стадия пройдена.

Дар различения и беспристрастность проявляются в спонтанной жажде добра – милосердной любви, единства с волей Божь-

ей и столь же спонтанном отвращении ко злу. Человека, имеющего этот дар, уже не нужно призывать поступать правильно или удерживать от зла угрозами наказания²⁵.

Человеческий разум столь силен, что способен, начав с самого малого, постичь самое великое. По самой своей природе он приобщен разуму Бога, Чей свет просвещает наше мышление. Слова можно извратить, но сами по себе они не лгут. Язык может стать орудием глупцов и мошенников, но как таковой он хранит в себе силу обозначать и сообщать истину.

Вера не полагается на разум и не требует доказательств, но всегда остается разумной. Вера не уничтожает разум, а реализует его. Нужно избегать двух крайностей: легковерия и скепсиса, предрассудков и рационализма. Если это равновесие нарушено и человек слишком полагается на свои пять чувств и разум, а не на веру, то он начинает жить иллюзиями. Или, когда бросая вызов разуму, он вверяет веру сомнительному авторитету, он тоже впадает в иллюзию. На самом деле, разум – это путь к вере, и вера вступает в свои права, когда разуму больше нечего сказать.

The Ascent To Truth

25 Св. Григорий Нисский. Комментарии к псалмам. – Примеч. авт.

ИСКУССТВО И ДУХОВНОСТЬ

Тем, кто начинает внутреннюю жизнь, очень важно уметь откликаться на реальность, видеть ценность и красоту обычных вещей, живо реагировать на великолепие, блистающее в окружающих нас творениях Божьих. Мы не видим этих вещей, потому что отвернулись от них. В каком-то смысле мы должны отвернуться. В современной жизни наши чувства постоянно атакуют и возбуждают, поэтому, если мы не выработаем защитной реакции против бесчисленных видов рекламы, то просто сойдем с ума.

Первый шаг во внутренней жизни состоит не в том, чтобы, как некоторые сегодня полагают, научиться ничего не замечать, не слышать, не чувствовать. Напротив, мы должны научиться правильно видеть, слышать и чувствовать.

Аскетизм не просто отказ от телевидения, сигарет и джина. Прежде, чем мы станем аскетами, мы должны научиться видеть жизнь как нечто большее, чем гипнотизирующая телепередача. И мы должны распробовать что-то еще, кроме табака и алкоголя: возможно, мы должны отведать и этих излишеств, как если бы они тоже были благом.

Как может наша совесть сказать нам, стоим ли мы на пути отречения от вещей, если она не научит нас, как правильно ими пользоваться? Ведь отказ не самоцель: он помогает нам лучше пользоваться вещами. Он помогает нам дарить их или жертвовать ими. Если реальность отталкивает нас, если мы отворачиваемся от нее, кому принесем мы ее в жертву? Как освятим ее? Как превратим ее в дар Богу и людям?

В эстетическом опыте, в творчестве или созерцании произведения искусства психологическое сознание может достичь высочайшей и совершенной полноты. С помощью искусства мы можем и найти себя и одновременно потерять. Ум, который откликается на интеллектуальные и духовные ценности, скрытые в стихотворении, картине или музыкальном произведении, открывает духовную силу, которая поднимает его над собой, освобож-

дает из собственных оков и являет его на таком уровне существования, которого он и не помышлял достичь.

Душа, которая пристально следит за собой, предаваясь однообразному самоанализу, становится сама себе в тягость. Но дух, который поднимается над собой, откликаясь на произведение искусства, «сознает себя», становится возвышенным, приносит плоды. Он открывает в себе новое мышление, видение, нравственность. Без всякого самоанализа он находит себя в нравственных поступках, откликаясь на возвышающие его ценности. Сам отклик делает его лучше, делает его другим. Человек осознает новую жизнь и новые силы, и нет ничего странного в том, что он продолжает их развивать.

В молитвенной жизни важно уметь откликаться на подобные вспышки эстетической интуиции. Церковь никогда не считала искусство и молитву врагами и если бывала суровой, то лишь потому, что хотела подчеркнуть существенную разницу между искусством и развлечением. Суровость, серьезность, трезвость и сила Григорианского пения, цистерцианской архитектуры XII в., каролингского миниатюрного письма многое открывают в молитвенной жизни, а в прошлом они сформировали молитву и религиозное сознание святых. И это всегда происходило по мере освобождения душ от замкнутости на себе и от рассуждений о формальных ценностях искусства и аскетизма.

No Man Is An Island

ПОЭЗИЯ, СИМВОЛИЗМ И ТИПОЛОГИЯ²⁶

Псалмы – эти стихи, а у стихов есть смысл, но если человек не желает приложить усилия, чтобы вникнуть в него, поэт не обязан растолковывать этот смысл. Наличие в стихах смысла не означает, что они непременно должны передавать знание или идею. В поэзии слова заряжены смыслом не так, как в научной прозе. В стихах слова не просто знаки идей: они насыщены богатыми эмоциональными и духовными ассоциациями. В задачу поэта не входят заявления или утверждения. Обычно это последнее, что его волнует. Он, прежде всего, стремится соединить слова так, чтобы между ними возникла таинственная, живая связь, и тем самым выявить их тайные ассоциации, которые обогатят читателя совершенно неповторимыми переживаниями, захватывающими глубины его духа. Хорошее стихотворение вызывает такие переживания, которые не могут пробудить другие словосочетания. То есть это совершенно особое единство, отмеченное той самобытностью, которая отличает его от всех других произведений искусства. Как все великие творения, подлинная поэзия обладает особой, только ей присущей жизнью. Поэтому мы должны искать в стихотворении не случайное упоминание о том, что находится за его пределами, а внутренний принцип самобытности и жизни – его душу или «форму». «Смысл» стихотворения складывается из поэтических переживаний, которые оно вызывает у читателя. Поэт пытается передать этот совокупный поэтический опыт остальному миру.

Для тех, кто читает псалмы или поет их во время церковной службы, важно уловить поэтический смысл этих великих песен. Поэтический дар не дается всем людям поровну, и, к сожалению, он необходим не только авторам стихов, но и в какой-то мере читателям. Это не значит, что Божественная литургия – эстетическое действо, в котором могут участвовать лишь посвященные,

26 В христианской иконографии система, в соответствии с которой персонажи и сюжеты Ветхого Завета рассматриваются как прообразы соответствующих персонажей и сюжетов Нового.

обладающие тонким вкусом и хорошо разбирающиеся в искусстве. Это значит, что читатели, чей поэтический аппетит полностью удовлетворяют вирши о креме для бритья, украшающие наши автострады, вряд ли извлекут для себя что-либо ценное из псалмов.

Но поскольку псалмы – поэтические произведения, их назначение – приобщить нас к поэтическому опыту их авторов. Сколько бы мы ни изучали исторический контекст, как бы осторожно и научно строго ни толковали псалмы, если мы не проникнемся поэтическим опытом, о котором они рассказывают, мы не поймем того, что открыл в псалмах Бог, поскольку Псалтырь – *поэтическое произведение*. Несомненно одно: поскольку автор – орудие Святого Духа, откровение, которое содержится в псалмах, выражено в поэтической форме и может быть понято лишь посредством поэтического опыта, схожего с опытом их автора.

Простота и универсальность псалмов делает их доступными каждому человеку во все времена и на любом языке, и, на мой взгляд, если читая псалмы, человек не был потрясен их глубоким общечеловеческим содержанием, то полагаю, что его поэтическое чувство омертвело.

Но псалмы – больше, чем поэзия: это религиозная поэзия. Опыт, который в них выражен и к которому читатель должен приобщиться, не только поэтический, но и религиозный. Религиозная поэзия в отличие от просто благочестивой – плод подлинного религиозного опыта. Не обязательно мистического. Благочестивая поэзия – это стихи, в которых варьируются религиозные темы, иногда на высоком поэтическом уровне. Но читатель воспринимает в таких стихах только поэзию. Иногда же и этого не происходит. Многое из того, что считается «религиозной» поэзией, на самом деле, не более чем перетасовка известных догм, не пережитых автором. Она подобна игре: набожные души, несомненно, искренние в своей вере, играют в поэтические шашки, используя набор привычных религиозных клише. Автором движут глубоко религиозные побуждения, если он пишет стихи во

славу Божью или для спасения душ. Но такие стихи редко «спасают» души. Они льстят тем, кто хорошо себя чувствует в «спасенном» состоянии, и раздражают тех, кто действительно нуждается в спасении. Подлинно духовные стихи рождаются не из религиозных устремлений. Ни поэзия, ни созерцание не возникают из благих намерений. Если духовная жажда автора не простирается дальше благочестивых побуждений, его стихи неизбежно будут вымученными и бескрылыми. Настоящее искусство не бывает «принудительным», иначе оно утомляет читателя, как вынужденное благочестие и религиозный надрыв у тех, кто изо всех сил пытается стать созерцателем, словно внушенное созерцание – результат человеческих усилий, а не дар Божий. По-моему, лучше бы такой поэзии вообще не было. Она укрепляет подозрения неверующих в том, что религия умерщвляет, а не питает все живое в человеческом духе. Псалмы – самые простые и самые великие религиозные стихи на свете.

Никто не сомневается в том, что содержание псалмов подлинно религиозное. Это песни людей (Давид – величайший из них), для которых Бог – нечто большее, чем отвлеченная идея или холодный наблюдатель, сидящий в сторожевой башне, пока Его вселенная пульсирует в пространстве без Него. Бог псалмов не просто абсолютное, имманентное существо, выбрасывающее из глубокой метафизической утробы бесконечную череду явлений. Псалмы не убаюкивающие заклинания.

Первозданный и простой символизм псалмов не означает, что у Давида был «антропоморфный Бог». Так могут думать лишь материалисты, утратившие всякое чувство поэтической формы и забывшие, с какой яростью великие еврейские пророки настаивали на трансцендентности и бесконечной духовности Яхве, который настолько выше всего земного, что даже имя Его нельзя произносить. Бог Псалтыри «выше всех богов», то есть всего, что можно изображать и чему можно поклоняться как образу.

Тем, кто проник в поэтическое содержание псалмов, ясно, что представление Давида о Боге очищено от всякого антропоморфизма. И все же этот Бог, который «выше небес», «близок ко всем,

призывающим Его». Тот, кто выше всех вещей и присутствует во всем, может проявляться через них²⁷.

Псалмопевцы забывали себя от радости, созерцая Бога в космической символике сотворенной им вселенной.

Небеса проповедуют славу Божию
И о делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь,
Нет языка, и нет наречия,
Где не слышался бы голос их.
По всей земле проходит звук их,
И до пределов вселенной слова их.

Он поставил в них жилище солнцу,
И оно выходит, как жених из брачного чертога своего,
Радуетя, как исполин, пробежать поприще.
От края небес исход его,
И шествие его до края их,
И ничто не укрыто от теплоты его.

(Пс 18:2–7)

Мы смотрим на Ветхий Завет как на летопись страха, поражающего людей, отпавших от Бога, и забываем, что многие патриархи и пророки были бесконечно близки к Нему, подобно Адаму, который запросто прогуливался с Господом по Эдемскому саду. Это особенно явно чувствовалось в начале эпохи патриархов, о которой говорит валлийский поэт-метафизик Генри Вокс:

По рощам девственным блуждая,
Где веет Дух незримый Твой,
Я вижу ангела из рая
За шевелящейся листвою.
Он в можжевельнике таится
И в миртах обретает кров,

27 Римский миссал: Общая служба освящения церкви. – Примеч. авт.

В кустарнике, где выются птицы,
Или под ветками дубов.
Вот с Богом борется Иаков,
И ворон кормит Илию:
Приносит хлеб и горсти злаков,
И мясо к чистому ручью.
И трое странников крылатых
У Авраамова шатра,
С небес явившихся когда-то,
Едят и пьют с ним до утра²⁸.

За долгую череду веков память о первоначальном откровении изгладилась, но листья этих деревьев зеленеют в Псалтыри. Давид опьянен любовью к Богу и преисполнен простодушного чувства: человек – *Leiturgos* или первосвященник творения и рожден для того, чтобы в Богослужении воздавать хвалу, которую немое творение не может вознести к Богу.

Космическая символика играет важную роль в Псалтыри. Откровение Бога человеку в природе не было достоянием какой-то одной религии. Оно принадлежит всему человечеству и стало основой всех «естественных» религий²⁹. Вместе с тем созерцание Бога в природе – естественная прелюдия к сверхъестественной вере, которая зиждется на внятном божественном откровении. «Исторические» псалмы могут оттолкнуть современных читателей, но псалмы, насыщенные космической символикой и видением Бога в природе, привлекают всех.

Космическая символика Ветхого Завета – часть иудео-христианского откровения и языческих культов. Однако авторы Ветхого Завета, в особенности автор рассказа о сотворении мира, с которого начинается Книга Бытия, не просто касались символических тем, которые появились в других религиях Ближнего Востока; они сознательно пытались очистить и возвысить космические символы – общее наследие всего человечества и восстановить

28 Перевод Анны Курт.

29 См.: Рим 1:18 и Деян 14:15. – *Примеч. авт.*

достоинство, которое у них отняли, когда символы монотеизма были низведены до политеистических мифов.

Позволю себе краткое отступление, чтобы подробнее остановиться на столь важном вопросе³⁰.

Всем известно, с каким пылом рационалисты XIX в. клеймили иудеохристианство за то, что оно заимствовало религиозные темы и символы у восточных религий. Язык и идеи Нового Завета во многом напоминают платоновскую философию, ритуальный язык мистерийных культов и мифологическую структуру других восточных верований. По распространенному мнению, эти параллели доказывают, что Божественное откровение можно найти не только в христианстве. Авторы Ветхого и Нового Завета – простые люди, но евангелист Иоанн был не так прост, чтобы полагать, что греческое слово *logos*, которое он мог заимствовать у платоников, – его личное открытие. Библейские авторы вдохновлялись Святым Духом, но должны были облекать свои идеи в слова, взятые из словаря современной культуры. Рассказывая о сотворении мира, вдохновенный автор Книги Бытия мог изложить эту историю в духе современного учебника палеонтологии. Тогда Книга Бытия была бы понятна лишь палеонтологу. Поэтому рассказ о сотворении мира облечен в форму стихов, в которых используются космические символы, общие для всего древнего человечества.

Свет и тьма, солнце и луна, звезды и планеты, деревья, звери, киты, рыбы и птицы небесные, занимающие определенное место в окружающем мире и натуральном хозяйстве, оставили такой отпечаток в сознании людей, что стали значить для них куда больше их непосредственного значения. Поэтому они таинственным образом входят в нашу поэзию, наши видения и сны. И поэтому наш век, в котором космическая символика была почти забыта и утонула в потоке торговых марок, нагрудных значков политических партий, рекламных и пропагандистских лозунгов и всего прочего – век массового психоза. Мир, в котором поэт не находит

30 Я особенно признателен о. Жану Даниелу за его статью «Проблема символизма», 1950. См. также его книгу *Sacramentum Futuri*, Париж, 1950. – *Примеч. авт.*

материала для творчества в повседневной жизни и сходит с ума в поисках символов, заживо погребенных под грудой культурного хлама, неизбежно губит сам себя. Поэтому лучшие поэты нашего времени в ужасе бегут на призрачные кладбища сюрреализма. Верные своему поэтическому чутью, они могут искать эти символы лишь в глубинах собственного духа. Однако эти глубины превратились в руины и трущобы. Но поэзия должна использовать все, что там можно найти: голод, безумие, безысходность, смерть.

Авторы Библии знали, что космические символы, описывающие, как Бог открылся всем людям Земли, присутствуют в других религиях. Они знали и то, что языческие религии и культы исказили эту символику и извратили ее изначальную чистоту³¹. Язычники подавляют «истину неправдою», они «заменили истину Божию ложью»... (Рим 1:18, 1:25).

Творение было дано человеку как чистое окно, сквозь которое свет Божий мог пролиться в души людей. Солнце и луна, ночь и день, дождь, море, урожай, цветущее дерево – все было прозрачным. Они говорили человеку не только о себе, но и о Том, кто их сотворил. Природа была символична. После грехопадения люди постепенно отошли от этой истины. Природа перестала быть прозрачной. Народы уже не могли проникнуть в смысл мира, в котором они жили. Не понимая, что солнце свидетельствует о силе Божьей, они считали его богом. Вся Вселенная превратилась в систему мифов. Ценность творений наделяла их иллюзорной божественностью.

Люди еще благоговели перед своеобразием жизни и живой природы, но уже были не способны увидеть, что благое творение – отблеск Бога. Прозрачную Вселенную окутала тьма. Людей охватил страх. Творения были исполнены смысла, который люди не понимали. Они стали бояться деревьев, солнца, моря. Возникли обряды и суеверия. Силы природы, чей тайный смысл был скрыт от людей, нужно было задабривать и по возможности управлять ими с помощью магических заклинаний.

31 Лучше всего об этом сказано в Первой главе Послания к Римлянам. – *Примеч. авт.*

Первородный грех сказался и на прекрасной живности, населявшей Землю и служившей окном в небо. Мир пал вместе с человеком и вместе с ним тоскует о возрождении. Символичная Вселенная, превратившаяся в хитросплетение мифов и магических обрядов, в обиталище бесчисленных враждебных духов, перестала говорить с людьми о Боге и стала говорить лишь о себе. Символы, поднимавшие человека к Богу, превратились в мифы и стали проекцией его биологических инстинктов. Глубочайшие потребности человека, которых он начал стыдиться, превратились в жуткие страхи.

Искажение космической символики можно понять с помощью простого сравнения. Представим себе, что происходит, когда в комнату перестает проникать свет извне. Днем мы все видим через окно. С наступлением ночи мы можем видеть мир сквозь стекло, если в комнате не горит свет. Если свет продолжает гореть, мы видим только нас самих и нашу собственную комнату, отражающуюся в окне. Адам в раю мог смотреть сквозь творение, как сквозь оконное стекло. Бог сиял в окне так же ярко, как солнечный свет. Авраам и патриархи, Давид и святые Израиля – избранный народ, сохранивший завет с Богом, – могли видеть мир сквозь окно, как человек, который смотрит ночью из темной комнаты и видит луну и звезды. Но язычники стали забывать небо и зажигать собственные светильники; им стало казаться, что отражение их комнаты в окне – «потусторонний мир». Они стали поклоняться делам рук своих.

Но довольно о космических символах. В псалмах мы вновь видим их чистыми и яркими. Давид поет:

Господи, Боже наш!
как величественно имя Твое по всей земле...

Слава Твоя простирается превыше небес!
Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов,
На луну и звезды, которые Ты поставил:

То что есть человек, что Ты помнишь его,
И сын человеческий, что ты посещаешь его?³²

Космическая символика занимает в Библии далеко не первое место. Есть другая, более важная символика, которую мы не найдем в других религиях. Мы назвали ее *типологией*. Ее содержание характерно лишь для иудео-христианского откровения. С помощью этой символики передается особое послание – «Евангелие», то есть самая суть христианского откровения. Именно типология делает псалмы сборником уникальных религиозных стихов.

Библейская типология – особый вид символики. Она значительно чище и действенней аллегории. Я бы даже сказал, что в псалмах аллегория не играет большой роли. В Псалтыри нет сложных аллегорий, из которых, к примеру, состоит поэма Спенсера «Королева фей». Персонафикация отвлеченных моральных принципов чужда духу истинного созерцания.

Соотношение типов и антитипов в Писании – особое проявление Бога, свидетельство Его постоянного промыслительного вмешательства в человеческую историю. В отличие от вселенской космической символики, которая снова и снова повторяется в природе вместе со сменой времен года, исторические и типологические символы – единственные в своем роде. Действие Бога отражается в космической символике, как солнечный свет на необъятном море творения. Типологическая символика подобна метеорам, прорезывающим темное небо истории внезапным светом, возникающим и исчезающим вместе со свободой, не подчиняющейся человеческим законам. Космическая символика

32 Пс 8:2, 4–10. Каждая строчка этого псалма направлена против многобожия. Человек, который может увидеть Бога, рассматривая Его творение, владеет истиной, которая делает его свободным (Ин 8:32). Его жизнь стала духовной, немногим умален он перед ангелами и занимает свое, принадлежащее ему по праву место в порядке творения, возвышаясь над неразумными животными. Язычники, напротив, опустились ниже животных, так как не познали Бога, Которого можно увидеть в Его творении. Не зная Бога, они обречены поклоняться зверям (Рим 1:23). Ср. также: Св. Бернард *De Diligendo Deo*, гл. II, 4. *Patrologia Latina*, т. 182, 970. – *Примеч. авт.*

подобна облакам и дождю, а прообраз подобен молнии, которая внезапно поражает землю небесным огнем.

Возьмем Потоп как прообраз. Во время Потопа Бог очищает мир, уничтожая грех. Потоп – это великий искупительный акт: страсти и смерть Христа искупили людские грехи. Но символика Потопа шире: это действие Бога, очищающего людей от грехов через таинства (крещение и покаяние), которые приобщают нас к искупительному подвигу Христа. Другой прообраз Ветхого Завета – переход евреев через Красное море. И наконец, все эти прообразы указывают на подвиг Христа, установление Его Царства, Его окончательное и явное торжество в Мистическом Теле, и наконец – на Страшный Суд. Тот же творческий акт, в котором Бог явил Свою силу во время потопа, еще раз поразит мир греха. Но на этот раз это будет окончательный ответ, то есть все люди будут свидетельствовать о том, как они откликнулись на действие Божье в мире. Те, кто верили и свободно приняли свет и спасение, посланное им свыше, пройдут, как израильтяне, через Красное море, спасутся во Христе, как сыновья Ноя спаслись в ковчеге, осуществят смысл своего крещения, потому что умрут и воскреснут во Христе. Те же, кто были не со Христом (а все, кто не с Ним, против Него), тоже явят миру то, что избрали для себя. Они сами предпочли утонуть в потоке и погибнуть с египетскими колесницами в сомкнувшихся водах этого последнего моря.

Многие псалмы предсказывают страдания и славу Христа. Больше того: Давид – «прообраз» Христа. Вся Псалтырь – прообраз Нового Завета, и чувства псалмопевца в широком смысле – «прообразы» чувств Божественного Искупителя. Даже грехи Давида принадлежат Христу в том смысле, что «Бог возложил на Него грехи всех» (Ис 53:6).

Bread In The Wilderness

ГЕРАКЛИТ ТЕМНЫЙ

Один из самых вызывающих, загадочных и острых философов в мире – Гераклит Эфесский, «Мрачный» или «Темный», *skoteinos*, *tenebrosus*. Он жил в ионийском городе, посвященном Артемиде, в конце V в. до н.э., во времена греческих тиранов и греко-персидских войн. Он был современником Пиндара, Эсхила и воинов, одержавших победу в битве при Марафоне, но в отличие от поэтов, писавших и певших на заре золотого века Аттики, Гераклит был скрытным и циничным пессимистом, относившимся с язвительным презрением к политическому рвению своих современников.

Он был одним из редких умов, наделенных пророческой интуицией, которая позволяла ему видеть дальше ограниченных горизонтов общества. Ионийский мир был миром Гомера и Олимпийских богов. Этот мир верил в статичный и неизменный порядок, в законы механистической необходимости – в основном, материалистические. Против этого Олимпийского порядка с его обрядами, косностью, традиционным внешним культом, против статичного общества, боявшегося всего «необычного», Гераклит восстал с пафосом мистика, посвященного в дионисийские таинства. Он отстаивал таинственное, неизреченное, исключительное. Он говорил о Логосе как об истинном законе всего сущего, не статичной и жесткой форме, а о динамичном принципе гармонии, внутри которой кипит борьба. Гераклит уподоблял этот принцип огню. Огонь не только символ для Гераклита. Более поздние философы осмеивали интуицию Гераклита, называвшего огонь «первоэлементом» (или первовеществом) космоса. Возможно, опыт нашего времени, когда физики обнаружили громадную энергию, скрытую в атоме водорода, доказывает, что Гераклит был ближе к истине, чем полагал Платон и Аристотель. Однако гераклитов «огонь» – нечто большее, чем вещество. Это духовная и «божественная» субстанция. Это ключ к духовной загадке человека. Наше духовное и мистическое предназначение – «пробудиться» к огню, который находится внутри нас, и наше счастье зависит от гармонии, возникающей вследствие этого пробуждения. Мы призваны к духовному

единству в логосе и с логосом. Но это единство не достигается с помощью ложного мира, – статичного и неподвижного «состояния», навязанного нашей волей динамичным силам, которые в нас борются. Истинный мир – это «скрытое созвучие противоположных напряжений» – парадокс и тайна, превосходящие разум и волю, подобные экстазу мистика.

Гераклит не оставил после себя сочинений. По легенде он написал книгу, которую преподнес Артемиде в ее храме. Куда более вероятно, что он ничего не написал. Однако о его жизни и подвигах ходили фантастические истории, которым нельзя верить. Его изречения, эти таинственные фрагменты, сохранились в сочинениях других авторов. Гераклита цитирует Платон и Аристотель, более поздние авторы – Плотин, Порфирий, Теофраст, Филон, а также отцы церкви: Климент Александрийский, Ориген и Ипполит. Иногда эти философы и богословы цитируют Гераклита, чтобы проиллюстрировать собственную точку зрения, но чаще – чтобы опровергнуть его взгляды. Св. Иустин Мученик называет его вместе с Сократом «святым» дохристианской эпохи. То, что он известен нам лишь из чужих произведений, делает его еще более трудным для понимания. Хотя сохранившиеся фрагменты его сочинений уместаются на двух или трех страницах, нужна долгая и кропотливая работа, чтобы разгадать их подлинный смысл и отделить темного ионийского философа от идей, которые ему приписывают.

Его загадочные изречения – лаконичные парадоксы, часто напоминающие язвительные и пророческие мондо мастеров дзен. В наше время, когда восточная философия вновь была услышана на западе (хотя, вероятно, неправильно понята) сравнение кажется совершенно естественным. Гераклит скорее восточный, чем греческий философ, хотя внешнее сходство бывает преувеличенным, и сам он предостерегал нас против необоснованных догадок в трудных вопросах. «Не будем наобум гадать о величайшем»³³(47). Однако Логос Гераклита очень напоминает Дао

33 Здесь и далее афоризмы Гераклита цит. по: «Фрагменты ранних греческих философов» Часть I. М.: Наука, 1989. (Нумерация фрагментов по Дильсу-Кранцу).

Лао-цзы и Слово евангелиста Иоанна. Его настойчивое утверждение, что внешне противоречивые противоположности в глубине едины – тема восточной мысли. Не забудем, что Гераклит был до Аристотеля с его принципом тождества и противоречия. Ему неведома аристотелева логика, поэтому он мог сказать, что с определенной точки зрения противоположности сходятся.

Изменчивость и противоборство разных сил не иллюзия, они очевидны для разума. Но когда мы слишком настойчиво анализируем и оцениваем эти противоположности, относя их к добру и злу, желательному и нежелательному, полезному или бесполезному, мы еще глубже погружаемся в иллюзии, видим реальность в искаженном свете. Мы уже не способны увидеть глубокую, скрытую связь между противоположностями, потому что поглощены их поверхностной разделенностью. На самом деле, нужно различать не добро и истину или зло и ложь. Скорее нужно видеть лежащее в основе всего единство, ибо оно – ключ к правде и добру, тогда как поверхностное разделение обманчиво и ведет к нравственному заблуждению. Вот почему Гераклит говорит: «Для бога все прекрасно и справедливо, люди же одно признали несправедливым, другое – справедливым» (102). Для Бога все вещи благие и справедливые не в их раздельности, которая противопоставляет их всему остальному, а в их внутренней гармонии с кажущимися противоположностями. Но люди разделяют то, что Бог соединил.

Гераклит смотрит на мир не отвлеченно, а с точки зрения опыта. Однако важно то, что опыт для Гераклита не просто необработанные данные разума. Он смотрит на все как мистик, чья интуиция преодолевает внешнюю множественность, чтобы охватить реальность как нечто единое. Это единство, которое Парменид охарактеризовал как универсальную идею бытия, мистик и поэт Гераклит называл «огнем».

Мы должны быть очень осторожными и не толковать Гераклита с позиций материализма. Огонь для него – динамический, духовный принцип, «божественная энергия», проявление Бога, Его сила. Бог для Гераклита – «все сущее». Вероятно, это куда

более тонкое наблюдение, чем кажется на первый взгляд. «Бог: день-ночь, зима-лето, война-мир, избыток-нужда (то есть все противоположности) изменяется же словно, когда смешается с благовониями, именуется по запаху каждого [из них]» (67). Бог, действующий в бесконечном разнообразии существ, проявляет Себя в разных обличьях. Бог, строго говоря, не просто «огонь», «земля» или другие стихии, или все они вместе. Его энергия действует, проявляется и скрывается в природе. Он Сам – Логос, Премудрость, не столько «действует» в природе, сколько «играет» в ней. В одном фрагменте «темный» философ говорит о логосе в тех же выражениях, что и Книги Премудрости в Библии: «Премудрость – дитя, играющее в мире»:

Когда Он уготовлял небеса, я была там.

Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,

Когда давал морю устав,

Чтобы воды не переступали пределов его.

Когда полагал основания земли:

Тогда я была художницею,

И была радостью всякий день,

Веселясь на земном кругу Его,

И радость моя была с сынами человеческими.

(Прит 8:27–31).

Гераклит говорит: «Век – дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле» (52). Игра в кости – метафора его главной идеи: все космические силы находятся в состоянии становления и изменения, и эта постоянная игра стихий в движении – выражение божественного Закона, «правда», «скрытая гармония» или «единство», которое поддерживает все сущее в равновесии посреди столкновений и движения.

Для Гераклита мудрость не «эрудиция», «многознание», наука, которая изучает и классифицирует бесконечное число явлений. И вместе с тем она не в своевольном и произвольном выборе одного из многих сталкивающихся принципов, который возвышает

его над противоположным принципом и ставит в положение явного и окончательного превосходства. Истинная мудрость должна охватить само движение и проникнуть к логосу или мысли внутри этой динамичной гармонии. «Ибо Мудрым [Существом] можно считать только одно: Ум, могущий править всей Вселенной» (41).

Вспоминаются слова из Книги Премудрости Соломона, на которую более всего повлияла эллинистическая мысль³⁴:

Познал я все, и сокровенное и явное;
Ибо научила меня Премудрость, художница всего.
Она есть дух разумный, святой,
Единородный, многочастный, тонкий,
Удобоподвижный, светлый, чистый,
Ясный, невреждительный, благолюбивый,
скорый, неударжимый,
Благодетельный, человеколюбивый,
Твердый, непоколебимый, спокойный,
Беспечальный, всевидящий,
И проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.
Ибо премудрость подвижнее всякого движения
И по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.
Она есть дыхание силы Божией
И чистое излияние славы Вседержителя:
Посему ничто оскверненное не войдет в нее.
Она есть отблеск вечного света
И чистое зеркало действия Божия и образ благодати Его.
(Прем 7:21–26).

Здесь вдохновенным языком священного автора говорится о развитии, которое завершает фрагментарную интуицию Гераклита, поднимая ее на уровень созерцательного богословия и вписывая ее в контекст великих истин, которые Гераклит даже

34 Греческая книга Премудрости Соломона принадлежит к числу второканонических книг Ветхого Завета. Ее автор – эллинизированный еврей.

не мог вообразить: Воплощение Логоса, искупление и обожение человека как высшее проявление премудрости и «созвучия сталкивающихся противоположностей».

Сердце гераклитовой эпистемологии – противопоставление человеческой и божественной мудрости. Не в силах постичь единство во множественности, гармонию среди противоречий, человек хватается за одну из противоположностей и пытается построить на ней одностороннюю истину, которая по сути своей – простая выдумка. Человеческая мудрость не может постичь мудрости божественной – «единой в многообразии», бесконечно подвижной. Чтобы «видеть», наш ум хватается за движение, которое окружает его и находится внутри него, и сводит это движение к неподвижности. Будь его воля, наш ум, скованный предрассудками, хотел бы остановить всякое движение в космосе, что уничтожило бы весь мир: Если бы вещи соответствовали нашему ограниченному представлению о «порядке», они бы все двигались в одном направлении к самоуничтожению, то есть к высшему беспорядку. Всякий порядок, основанный на человеческом представлении о реальности, частичен, а частичный порядок ведет к хаосу. Тогда огонь или вода поглотили бы все. Настоящая упорядоченность космоса – это кажущийся беспорядок, борьба противоположностей, которая, на самом деле, есть устойчивая и динамичная гармония. Мудрость человека – продукт своеволия, слепоты, прихоти и проявление его собственного нечувствия к тому, что находится у него перед глазами. Но наши глаза и уши не скажут нам ничего, если разум не разберется в том, что они воспринимают.

И Гераклит, безжалостно пуская в ход острое оружие парадокса, стремится разбудить ум своего последователя к реальности, которая находится у него перед глазами, но которую он неспособен увидеть. Он хочет освободить его от «спеси» и вывести из сна условностей и субъективных предрассудков. Отсюда парадокс: Гераклит, непреклонный аристократ и индивидуалист в мысли, как и в жизни, утверждает, что истина – общая для всех. Это «огонь», который есть жизнь космоса и каждого человека. Это дух и логос. Это то, что находится «прямо перед глазами». Но

каждая личность теряет контакт с Единым Огнем и возвращается к «холоду», влаге и «сну» своего субъективного мирка. Таким образом пробуждение – это возвращение от сна индивидуализма – узкого и инфантильного – к «общему» видению вселенской правды. К сожалению, общество погружается в сон, когда духовная жизнь в нем угасает. Жизнь и мышление «толпы» – это сговор спящих, отказ от борьбы за превосходство мудрости, которую трудно найти. «Многих» устраивает косность, «данность», общее место. Они не хотят ничего нового, наскучили сами себе, либо хотят новшеств, развлечений, которые лишь укрепляют их в привычном бездействии.

Поэтому «многие» в своем самодовольстве желают быть обманутыми «эрудицией», многознанием, постоянной сменой новых «истин», новых мнений, учений и толкований, свежих наблюдений и классификаций явлений. Это разнообразие соблазняет умы мнимой мудростью. На самом деле, это всего лишь интеллектуальный и духовный сон, убивающий всякую интуицию, с помощью которой разнообразие воспринимается как единство, пронизанное логосом, божественным огнем.

Мудрец должен приложить все силы, чтобы постичь «неожиданное», то есть быть чутким, постоянно «искать» и стремиться к превосходству, не боясь стать объектом ненависти и недоверия в глазах большинства, как Гермодор, которого эфесцы изгнали из города со словами: «Меж нами никому не быть лучшим, а если есть такой, то быть ему на чужбине и с чужими».

Аристократическое презрение Гераклита к обывательской болтовне сограждан не было позой или безумной реакцией раненой чувствительности. Это было пророческое проявление непреклонной честности. Он не желал молчать и говорил с яростной жаждой истины. Тому, кто видел Единого, уже не позволительно сомневаться, уклоняться, идти на компромиссы и льстить. Отнестись к своей интуиции как к одному из многих мнений было бы непростительно. Ложная скромность означала бы измену его глубочайшему своеобразие, основополагающей идее его жизни. Это, прежде всего, значило бы предать тех, с кем он мог говорить

лишь с помощью шокирующего парадокса. Гераклит, как Исайя, которому Господь повелел «ослепить глаза людей», говорил с ними слишком простыми, прямыми и бескомпромиссными словами. Людям, склонным к компромиссам, не дано понять притчи, ибо, как заметил Гераклит, «когда указывают на то, что у них перед глазами, они не понимают, хотя думают, что все поняли».

В этом трагедия Гераклита и наша трагедия: большинство людей думают, что они видят, а они слепы. «Те, кто слышали, но не поняли, глухим подобны, “присутствуя, отсутствуют”, – говорит о них пословица» (34). Видя и слыша, они подменяют новые неожиданные истины привычными предрассудками. Они самодовольно воображают, что им открылся новый свет, но едва узрев его, вновь отдаются во власть старой тьмы, которая так хорошо им знакома, что она одна кажется им светом.

■ Не терпевший игру слов и мошенничество этих мнимых мудрецов, которые обманывают других, собирая и перетасовывая расхожие мнения и предлагая старые ошибки в новых обличьях, Гераклит отказался играть в их жалкие игры. По слову Платона, его вдохновляли «более суровые музы», он искал превосходства с помощью интуиции, предпочитая ее ясности выражений. Он погружался в глубину и поднимался на поверхность, рассказывая о своих прозрениях в пророческих стихах, не желая льстить толпе и давать ей то, что она требовала и ждала от философа, или, выражаясь современным языком, эрудита. Он был как «Бог в Дельфах, который не открывает и не скрывает своих замыслов, а показывает их знаком». Его слова не излагали учение и не объясняли тайны, они – указатели, ведущие в сердце реальности: «перст, указующий на луну». Он хорошо знал, что многие неизбежно спутают палец с луной, но не пытался этому противостоять.

Интересно сравнить Гераклита с Прометеем Эсхила. Прометей, похититель огня, тоже восстает против олимпийского порядка. Мы видим, что Прометей – титан, представитель древних, первобытных, «дионисийских» земных богов архаической Греции, восстает против недавно установленной тирании Зевса. Эсхил сознательно вводит политику в свою трагедию, и она по-

трясает современного читателя. Пьеса не менее актуальна, чем «Слепящая тьма» Артура Кестлера, и давление, которое оказывает на прикованного титана посланник Зевса Гермес, чтобы подчинить его себе, очень похоже на тоталитаризм. Главный вопрос для всех толкователей эсхилловского Прометея – что символизирует собой его огонь: науку или мудрость? После долгих обсуждений можно прийти к следующему выводу: он символизирует и то, и другое. Для Прометея огонь – это наука, усовершенствованная и соединенная с мудростью в «скрытой гармонии». Олимпийцы могли бы сказать, что мудрость не так важна, и единственное, чем они могут поделиться с людьми, – наука, потому что наука означает власть. Но мы глубоко ошибемся, если скажем, что Прометей жаждет власти. Напротив, он олицетворяет собой любовь (соединяющую богов и людей в единую семью), восставшую против власти (с помощью которой боги господствуют над людьми и держат их в повиновении). И Гераклит восстал против общепринятого олимпийского порядка вещей, который проповедовал Гомер и Гесиод.

Поэтому у большинства людей он вызывал тревогу. Он говорил о них так: «глупцы, колеблемые каждым словом», «псы на того и лают, кого они не знают». В конце концов, чернь отомстила превосходившему ее во всем одиночке. Они придумали о нем легенду, соответствующую их пониманию: он был зачислен в разряд чудаков, мизантропов, эксцентричных бездельников, а они могли успокоиться. Они изгнали этого чудака, который считал себя слишком хорошим для них и тем самым обрек себя на жалкое одиночество. Он предпочел его уютной надежности их коллективной иллюзии. Они называли его «плачущим философом», хотя в его сочинениях нет никаких слез. Дошло до того, что он с отвращением покинул Эфес и «стал жить в горах, кормясь быльём и травами»³⁵. Античный автор Тимон говорил о нем так: «Взвился меж ними тогда Гераклит, толпу осуждая в темном своем кукареканье...»

35 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга 9.

Подоплека этих обвинений проста: он горд и презирает толпу. Конечно, презрение к людям несовместимо со смирением, если оно исключает любовь и сочувствие. Вполне возможно, что Гераклит был гордым человеком. Но можем ли мы с уверенностью утверждать это? Аристократическое превосходство, которое он подчеркивал, еще не означает гордости. Чтобы противостоять предрассудкам, необходимо смирение, и чтобы быть верным неудобной истине, следует отбросить все остальное. В массовом сознании всякая неудача «приспособиться», всякое стремление быть другим получает ярлык «гордость». Но возвышал ли Гераклит себя и свои мнения или всеобщие истины, которые больше отдельных личностей и частных мнений? Если мы поймем его учение, то увидим, что он был поборником истины.

Биограф (писавший через восемь столетий после его смерти) собрал все предания, в которых Гераклит предстает гордым чудачком. Полагая, что Гераклит был представителем правящего рода в Эфесе и отказался от своих обязанностей, Диоген Лаэртский писал:

Просьбою эфесцев дать им законы он пренебрег, ибо город был уже во власти дурного правления. Удалившись в храм Артемиды, он играл с мальчишками в бабки, а обступившим его эфесцам сказал: «Чему дивитесь, негодяи? разве не лучше так играть, чем управлять в вашем государстве?»³⁶.

Это все, что народ мог постичь из его таинственного речения: «Век – дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле» (52). Они приняли палец за луну и хотели, чтобы эта ошибка вошла в историю.

Этот рассказ о Гераклите, играющем в бабки в храме, сбивает с толку. Несколько фрагментов свидетельствуют о том, что его глубоко интересовала политическая жизнь. Но как всегда у Гераклита, интерес его значительно глубже обычной демагогии и шарлатанства, которые иногда выдают за «политику». Для Гераклита политическая жизнь зиждется на общем разумении мудрых, пробудившихся, посвященных в логос, настроенных на

36 Там же.

внутреннюю гармонию, лежащую в основе борющихся противоположностей. Таких людей не вводят в заблуждение политические страсти, подогреваемые насилием и личными интересами. Им чужды распространенные предрассудки или страхи, поскольку их взгляд простирается дальше ограниченного кругозора их тесного мирка. Политическая жизнь – это, прежде всего, союз умов, стоящих выше их окружения и опережающих свое время, имеющих более глубокий, всеобъемлющий взгляд на историю и людей. Такие люди непременно оказываются в меньшинстве. Их союз достигается не теоретическим умозрением. Он требует огромной нравственной силы и жертвы. Для них не достаточно созерцать логос, они должны отстаивать свои взгляды и всей своей жизнью защищать свое понимание единства. «Народ должен сражаться за попираемый закон, как за [городскую] стену» (44).

Гераклит не антиобщественен, и, конечно, он не анархист. Он не отвергает законы. Напротив, мудрые и объективные законы – отражение скрытого логоса и согласие с тайной гармонией, лежащей в основе хаотичного с виду движения, происходящего на поверхности политической жизни. Таким образом, функция закона не в том, чтобы навязывать абстрактную справедливость, которая есть ни что иное как своеволие тирана, одержимого честолюбием. Закон выражает «справедливость» как живую гармонию противоположностей. Это не оправдание одной части реальности как «благой» в пику другой, считающейся «злой». Это выражение истинного, благого, внутреннего единства самой жизни, общего для всех логоса. Значит, он защищает всеобщее благо против его незаконного захвата отдельными группами и людьми, ищущими лишь собственной узкой выгоды под маской универсального «добра».

За свой афоризм «Война – отец всех, царь всех» Гераклит получил прозвище фашиста. Термин просто смешон, поскольку под «войной» он подразумевает борьбу противоположностей во всех сферах жизни, а не военное столкновение. С тем же успехом его можно назвать марксистом, поскольку его примирение проти-

воположностей напоминает гегелевскую диалектику. Гераклит утверждает, что пока самые блестящие умы не могут плодотворно участвовать в политической жизни, в которой господствуют посредственности, она будет нелепой и несправедливой. Он не говорит, что миром должны править философы, власть должна быть в руках тех, кто с помощью развитого политического чутья и нравственных качеств способны ясно различать справедливость, логос, то есть истинное благо всего сущего, которое представляет собой ключ к смыслу жизни и истории.

Зачем писать о Гераклите в наше время? Конечно не для того, чтобы через двадцать пять столетий сделать его популярным. На самом деле, он обращается к нашему веку. Если бы мы только могли его услышать! Он говорит притчами с теми, кто боится превосходства в мышлении, в жизни, в духе. Он оставил нам духовное послание, но лишь немногие воспримут его, потому что мы, как нам кажется, сильно обогнали ионийского язычника. Но так ли это? Мы, христиане, используем нашу «веру» как предлог для того, чтобы остановиться на середине пути, который прошел Гераклит. Его мысль требует усилий, честности, борьбы, жертвы. Она несовместима с той самодовольной уверенностью, пронизывающей всю нашу жизнь и мышление, которую мы называем «душевым миром». Но не исключено, что Гераклит ближе, чем мы, к духовному смыслу Евангелия, в котором Слово, которое просвещает каждого человека, приходящего в мир, стало плотью, вошло во тьму, которая Его не приняла, где нам надлежит родиться снова, не входя в материнскую утробу, где Дух дышит, где хочет, а мы не знаем, откуда он приходит и куда уходит. Был Другой, куда более великий, чем Гераклит, говоривший притчами. Он пришел, чтобы низвести огонь на землю. Не похож ли этот Огонь на тот, о котором говорил Гераклит? Легче всего отмахнуться от этой догадки, обозвав ионийского мыслителя пантеистом. Приклеим к нему философский ярлык и сдадим в архив, где он никому не причинит беспокойства!

Но не все христиане относились к нему так. Джерард Мэнли Хопкинс, чье мировосприятие было гераклитовским и одновременно христианским, в одном из своих стихотворений не отвора-

чивается высокомерно от этой мысли, но принимает вызов. Для Хопкинса космос – «Гераклитов огонь». Введенное им понятие «инскейп» (внутренняя божественная суть каждой вещи) или, как он писал в дневнике, «набор характеристик, определяющих сущность», отражает идеи Гераклита и Дунса Скота. Это интуиция о структуре и гармонии, о «живой личности», отчеканенной самой жизнью, раскрывающей мудрость Бога Живого в тайне взаимодействующих движений и изменений. «...костер природы горит». Искра божественного огня – сам человек. Эту искру гасит смерть. Но означает ли смерть конец всего? Или костер продолжает гореть иным пламенем? Хопкинс погружается в тайну, не играя словами, борется с ангелом скорби, чтобы прийти к Воскресению, когда «пожар, который мир охватит, оставит от него один лишь пепел». «Я все, чем был Христос, – алмаз бессмертный».

Гераклит не знал Христа. Он не мог знать, что Логос станет плотью и будет обитать с нами. Однако он доподлинно знал о бессмертии и воскресении. Некоторые его таинственные изречения предвосхищают новозаветные тексты о воскресении человека во Христе: «Человек – свет в ночи: вспыхивает утром, угаснув вечером. Он вспыхивает к жизни [живым], умерев, словно как вспыхивает к бодрствованию, уснув» (26). Он говорит лишь о духовном и интеллектуальном пробуждении – опыте просвещенного человека, открывающего для себя мировой разум. Но мистическое свойство этого опыта делает его образом воскресения и новой жизни, в которую Гераклит, очевидно, верил.

Как мы видим, он говорил о мудреце, который изо всех сил борется за «всеобщую» мысль, объединяющую его с другими просвещенными умами. Мудрый должен отстаивать логос и единство с теми, кто знает о логосе. Он должен свидетельствовать о «всеобщей» мысли даже ценой собственной жизни. «Чем доблестней смерть, тем лучше удел выпадает на долю [умерших]» (25). «Людей ожидает после смерти то, чего они не чают и не воображают» (27). Смерть мудрого – «смерть огненная», переход из тьмы в свет, от разброда к единству. Смерть глупца, который отстаивает субъективное мнение и корыстные интересы, – это «смерть земли или

воды», погружение в холод, тьму, забвение, небытие. Умиравшие огненной смертью, которую христиане назовут мученичеством и которую Гераклит считал «свидетельством» об Огне и Логосе, становятся высшими существами. Они живут вечно. Они приобщаются к тем, кто управляет судьбами космоса и людей, ибо они вошли в тайну логоса. «Мудрым суждено, будучи в Аиде, восставать [от сна смерти] и становиться наяву стражами живых и мертвых» (63). Аристократизм, в который верил Гераклит, не связан с определенным сословием, властью, ученостью (все они иллюзорны). Это аристократизм духа и мудрости, можно даже сказать мистики и святости.

The Behavior Of Titans

ПИСЬМО ПАБЛО АНТОНИО КУАДРО О ГИГАНТАХ

В час, когда нестройные голоса вокруг нас пытаются изгнать из человека бесов и исцелить его с помощью научных клише или пророческих проклятий, я хочу поделиться с вами размышлениями, которые не назовешь ни трагическими, ни, как я надеюсь, пустыми. Это всего лишь мысли культурного человека, не претендующего на звание экзорциста, обращенные к другому человеку и продиктованные духом трезвости и заинтересованности. Головокружение XX века может продолжаться и без нашего позволения. Ураган не советовался ни с кем из нас и не собирается этого делать. Это не значит, что мы беспомощны. Это значит, что наше спасение зависит от того, понимаем ли мы наше положение, не обольщаемся ли, полагая, что сами породили этот вихрь и можем усмирить его мановением руки.

Буря истории, действительно, возникла в наших собственных сердцах. Она возникла произвольно из пустоты технократического человека. Этого джина вызвал из глубин собственного смятения самодовольный ученик чародея, который тратит миллионы на оружие уничтожения и космические ракеты в то время как две трети человечества голодают, не имеют крыши над головой и одежды. Предосудительно ли усомниться в разумности и искренности современного человека? Я знаю, что сомнение в просвещенности нынешнего варвара не считается признаком прогрессивного мышления. Но я не хочу, чтобы о моей просвещенности судили с точки зрения провокаторов и мучителей, известных, прежде всего, тем, что они построили огромное количество концлагерей и использовали их до предела возможностей.

Эти славные персонажи в припадке коллективного безумия объединились в громадные силовые блоки, похожие друг на друга, как две капли воды. Пророк Иезекииль не говорил ясно, что Гог и Магог будут биться друг с другом. Он лишь предрекал их неминуемую гибель. Их тяжкая жестокость истощится на горах Израиля, а птицы небесные будут пировать их останками. Но я

не ожидал, что их падение так непосредственно коснется нас. По правде говоря, даже в лучших из нас есть частица Гога и Магога.

Мы должны быть очень осторожными во времена, когда худшее, что есть в человеке, материализуется в обществе, получает одобрение, признание и даже обожествляется, когда ненависть считается патриотизмом, а убийство – священным долгом, когда шпионаж и доносы называют любовью к правде, а стукача – благодетелем общества, когда злобные, похотливые, несостоявшиеся в жизни бюрократы становятся совестью народа, а власть захватывает бандит, в такую эпоху мы должны бояться голоса нашего сердца, даже когда он осуждает их. Разве мы все не отравлены тем же ядом?

Поэтому нас не должны обмануть гиганты с их громогласными разоблачениями и доносами друг на друга, с их планами взаимного уничтожения. То, что они могущественны, еще не значит, что они психически здоровы, а то, что они так убедительно вещают, еще не значит, что они говорят правду. Их размеры еще не доказывают, что они обладают метафизической основательностью. Может, они не более чем призраки без всякой сути, порождение испуганных и жалких политиков, полицейских и богачей?

Мы живем в век дурных снов, когда ученый и инженер могут воплотить в жизнь фантомы человеческого бессознательного. Блестящее оружие, звенящее в воздухе и готовое стереть в порошок города мира, – гигантов без духовного центра. Их математические построения – суть священные обряды, придуманные шаманами без веры. Хотелось бы, чтобы их мечты были менее жуткими!

Но возможно они – порождения нашего собственного подсознания!

2

Я хорошо знаю, что когда политики рассуждают о мире, все ждут войны: сильные мира сего не говорили бы так много о мире, если бы в глубине души не считали, что он станет возможен, когда еще одна война окончательно уничтожит их врагов. «После

следующей войны» настанет рассвет, новая эра любви, но сначала все, кого они ненавидят, должны быть истреблены. Таким образом ненависть – мать этой своеобразной любви.

К сожалению, любовь, которая должна родиться из ненависти, никогда не родится. Ненависть бесплодна, она ничего не рождает, кроме образа собственной пустой ярости, собственной ничтожности. Любовь не может возникнуть из пустоты. Она наполнена реальностью. Ненависть уничтожает реальное существование человека, сражаясь с фикцией, которую она называет «врагом». Ибо человек конкретен и жив, а «враг» – понятие субъективное и отвлеченное. Общество, которое убивает реальных людей, чтобы избавиться от своих параноидальных галлюцинаций, одержимо бесом разрушения, потому что неспособно любить. Оно изначально отказывается любить. Его интересуют не конкретные отношения людей, а абстракции, политика, экономика, психология, иногда даже религия.

Гог обожествляет власть, Магог поклоняется деньгам. У них разные идола, но они решительно настроены друг против друга и при этом охвачены одним безумием: это два лика Януса, который глядит внутрь себя и с грозной яростью делит пополам оскверненное святилище человека, утратившего человечность.

Для Гога и Магога имеют значение лишь имена, ярлыки, числа, символы, лозунги. Из-за имени, классовой принадлежности человека могут раздеть и повести к стенке, где его расстреляют. Из-за имени или слова вас могут отравить газом в газовой камере и сжечь в печи, которая превратит вас в удобрение. Из-за слова или даже числа с вас могут содрать шкуру и сделать из нее абажур. Если вы хотите получить работу, пристойно жить, иметь дом, обедать в ресторане и ездить в транспорте, вы должны принадлежать к нужной группе, которая определяется формой вашего носа, цветом глаз, завитками волос, цветом кожи или общественным статусом вашего дедушки. Жизнь и смерть сегодня зависит от чего угодно, кроме того, кто вы есть на самом деле. И это называется гуманизмом.

Осуждение или оправдание не связано с вашими поступками. Этических норм больше не существует. Мы освободились от объективных идеалистических понятий «правильно-неправильно». Это своевременное освобождение от этических норм и законов куда более эффективно позволяет нам расправляться с постоянно растущим числом нежелательных элементов. Приклейте к каждому из них ярлык, не требующий от обвиняемого никаких действий и от обвинителя – усилий мысли. Тогда общество может избавиться от «преступников», прежде чем они причинят кому бы то ни было вред, совершив преступление. Какой гуманный и эффективный способ борьбы с преступностью! Вы из лучших побуждений убиваете человека за все преступления, которые он мог бы совершить, прежде чем он сможет это сделать.

3

Я пишу вам из страны Магога. То, что Магог мне симпатичней Гога, не мешает мне быть объективным. И не подразумевает выбора, не вынуждает отнести себя к определенной группе. Я редко соглашаюсь с Магогом, вот одна из причин, почему я пишу это письмо. Однако должен признать, что чувствую себя в долгу перед Магогом за то, что он позволяет мне существовать, чего Гог, возможно, не сделал бы. Вероятно, мне не делает чести то, что я не совсем доверяю идеализму Магога и вижу в нем признаки того, что, несмотря на всю его наглую, материалистическую гигантоманию, он все еще человечен. Конечно, он терпит в своих иждивенцах немного человеческой пронизательности вкупе с эксцентричной фривольностью, которая неприемлема для Гога. (Гог в соответствующем настроении роняет обильные слезы в свою водку.) Магог, в целом, не требователен. По крайней мере, до недавнего времени он довольствовался несколькими неискренними излияниями. Он не требует громогласного публичного покаяния, которое в царстве Гога обычно предшествует казни. Давление Магога более тонкое, мягкое и убедительное, но тоже повсеместное. Однако несогласие еще допустимо.

Магог в смущении, он легче поддается панике и унынию, чем Гог. Он менее искусный политик и стеснен смутной и незамысловатой системой верований, понятных каждому. Поэтому мир может легко увидеть несоответствие между его идеалами и реальностью. Магог чаще смущается, чем Гог, который, не имея объективных идеалов, лишь воздаст уважение диалектическому процессу, оправдывающему все, что угодно.

Гог надеется, что Магог дойдет до отчаянья и как-нибудь погубит себя, прежде чем возникнет необходимость уничтожить его. Во всяком случае, он предоставляет Магогу любую возможность дискредитировать себя в глазах остального мира, так что если не удастся его убедить сунуть голову в газовую камеру, его уничтожение можно будет рассматривать не как преступление, а как привилегию, дарованную всему роду человеческому.

Но позвольте мне перейти от Гога и Магога к остальным людям. Я имею в виду тех, кто еще не отдал всего себя одному из лидеров. Даже в структурах власти есть много людей, которые ненавидят войны и лозунги, системы и официальные заявления господствующих группировок. В них нарастает протест, но они прекрасно понимают, что сколь бы справедливыми ни были их выступления против безжалостной власти, еще более бесчеловечная власть может использовать их слова в своих целях. Даже протестуя, человек должен быть сдержанным, не только, чтобы спасти свою шкуру, но, прежде всего, чтобы спасти свою честь от посягательств развращенного публициста, агитатора или полицейского.

4

Но шутки в сторону; давайте обсудим вопрос о будущем мира, если оно у него есть. Гог и Магог убеждены, что есть. Российские власти считают, что когда Магог уничтожит себя, начнется золотой век мира и любви. Наши лидеры полагают, что если обе стороны сумеют преодолеть холодную войну и ядерную угрозу, то они достигнут счастливого будущего, возможность которого еще предстоит объяснить.

Я со своей стороны всерьез верю в то, что обе державы могут однажды проснуться и обнаружить, что они за одну ночь сожгли и стерли друг друга с лица земли, и ничего не останется, кроме судорожного применения автоматического оружия, которое небрежно называют «ответной мерой». Возмездие ждет все нейтральные страны, которым удалось избежать самого страшного, но не исключено, что южное полушарие может торопливо нанести обратный удар и оказаться в одиночестве в маленьком пустом, отравленном радиацией, но пока еще обитаемом мире.

В этой новой ситуации можно представить, что Индонезия, Латинская Америка, Южная Африка и Австралия могут унаследовать возможности и цели, которыми СССР и США так беспечно пренебрегали.

Самая большая, богатая и освоенная земля к югу от экватора – Южная Америка. Большинство ее населения – индейцы или метисы, в которых течет индейская кровь. Вполне возможно, что белое меньшинство в Южной Африке исчезнет. Остаток европейцев может выжить в Австралии и Новой Зеландии. Будем надеяться и на то, что Индия и часть мусульманского населения в центральной и северной Африке выживут.

Если это произойдет, это будет событие небывалого духовного значения. Тогда на смену интеллектуальным и механистическим культурам, которые стремились жить абстракциями и, совершенствуя производство, все больше отделяли себя от природного мира, придут представители расы, которых они угнетали и эксплуатировали, не испытывая ни малейшей благодарности и не понимая их человеческой сущности.

У этих рас совершенно другой взгляд на жизнь, – не отвлеченный, а духовный и конкретный, не прагматичный, не рациональный и не агрессивный, а религиозный, интуитивный и эмоциональный. Глубочайшие родники жизненной силы этих рас были запечатаны Завоевателем и Колонизатором, там, где не были им отравлены. Но если отвалить камень от источника, возможно, их воды очистятся новой жизнью и вновь обретут

творческую плодоносную силу. Ни Гог, ни Магог не могут этого сделать за них.

Я буду краток: величайший грех европейско-русско-американского комплекса, который мы называем «Западом» (грех, распространившийся до Китая) не только жадность и жестокость, не только нечестность и неверность правде, но, прежде всего, его нескрываемое высокомерие к остальному человечеству. Западная цивилизация неуклонно сползает к варварству, возникающему внутри нее, потому что допустила двойную неверность: Богу и Человеку. Для христианина, верящего в тайну Воплощения, для которого эта вера – нечто большее, чем благочестивая теория без гуманистического содержания, это не две неверности, а одна. Поскольку Слово стало плотью, Бог живет в человеке. Бог – во всех людях. На всех людей нужно смотреть и ко всем нужно относиться как к Христу. Неспособность к этому, как говорит нам Господь, равноценна измене величайшему откровению: «Я жаждал, и вы не дали Мне пить. Я был голоден и вы не дали Мне есть...» (Мф 25:42). Эту идею можно продолжить во всех смыслах, она должна распространяться на все человеческие нужды и потребности: не только в хлебе, работе, свободе, здоровье, но и в правде, вере, любви, приязни, дружбе и понимании.

Одна из величайших трагедий христианского Запада состоит в том, что, несмотря на добрую волю миссионеров и колонизаторов (которые, конечно же, стремились к добру и вели себя гуманно, ведомые внутренним светом, который был ярче нашего), они не могли понять, что *народы, которые они покорили, были им равны и в некоторых отношениях даже выше них.*

Христианская Европа, несомненно, должна была проповедовать Христа индейцам Мексики и Анд, так же, как индусам и китайцам, но их ошибка состояла в том, что они не могли увидеть Христа в индейцах, индусах и китайцах.

Христиане слишком часто забывали, что христианство проникло в греческую и римскую культуру благодаря тому, что творчески переработало дохристианские ценности, которые нашло в этих культурах. Мученики отвергали грубый, циничный и

фальшивый культ государственных богов, который был культом светской власти, но Климент Александрийский, Иустин и Ориген искренне верили в то, что Гераклит и Сократ были предтечами Христа. Они считали, что если Бог явил Себя евреям через Закон и пророков, то Он говорил и с язычниками через их философов. Христианство проложило себе путь в I в., не навязывая остальному миру еврейские культурные и общественные нормы, но освободившись от них, чтобы быть «всею для всех». Это великая драма и высочайший урок апостольского времени. К концу средних веков урок был забыт. Проповедники Евангелия на недавно открытых континентах стали проповедовать и распространять европейскую культуру и насаждать свою власть. Они не вступили в диалог с древними цивилизациями, а навязали им собственный монолог и, проповедуя Христа, проповедовали одновременно и себя. Их пылкое самопожертвование и смирение позволило им это сделать с чистой совестью. Но они не расслышали голоса Христа в незнакомых наречиях индейцев, как Климент Александрийский услышал его у до-сократиков. А сегодня мы имеем христианство Магога.

Это христианство денег, бурной деятельности, пассивных толп, электронное христианство громкоговорителей и парадов. Сам Магог неверующий. Он цинично терпим к мускулистому и сентиментальному Христу, который ему выгоден. Этот прогрессивный Христос не обличает фарисеев и не изгоняет торговцев из храма. Он протестует только против Гога.

Мы не можем быть уверены в том, что нашли Христа в себе, пока не найдем Его в той части человечества, которое дальше всего от нас.

Христа находят не в громогласной и напыщенной декларации, а в смиренном братском диалоге. Его находят не в той правде, которую навязывают, а в той, которой делятся.

5

Если я настойчиво предлагаю вам свою правду и не принимаю вашу, то между нами не может быть правды. Христос присутству-

ет там, «где двое или трое собраны во имя Его». Но собираться во имя Христа – значит собираться во имя Слова, ставшего плотью. Это значит собираться с верой в то, что Бог стал человеком и может быть увиден в человеке, что Он может говорить в человеке, может просветить каждого встречного, зажечь любовь в нем, а через него – во мне. Только Церкви поручено освящать и учить все народы, но понимаем ли мы, что незнакомый нам житель другой страны, не только невидимый член тела Христова, но может быть пророком или провозвестником воли Божьей.

Индия могла многое сказать Западу, но ее заставили замолчать. Первые миссионеры слышали и поняли учение китайских мудрецов, которым было что сказать, но Европа пренебрегла им. Обратил ли кто-нибудь внимание на голоса майи и инков, которые говорили очень глубокие вещи? Их свидетельства просто пресекли. Никто не подозревал, что дети Солнца могли скрывать в своих сердцах духовные тайны. Напротив, европейцы вели отвлеченные споры в рамках академической философии, пытались установить, не является ли индус разумным животным. Можно содрогнуться от голоса рассудочного западного высокомерия, выхолощенного рационализмом, столь свойственного нам сегодня, который рассуждает о духовной тайне первобытного человека и не считает его достойным любви, дружбы, уважения и общения.

Бога нужно услышать не только на Синае, не только в своем сердце, но и в голосе чужеземца. Поэтому для народов Востока и всех первобытных людей в целом так много значит тайна гостеприимства.

Бог вправе говорить непредсказуемо, и нельзя Его лишать этого права. Святой Дух, голос Божественной свободы всегда должен быть, как ветер, который «дышит, где хочет» (Ин 3:8). В тайне Ветхого Завета уже намечалось напряжение между Законом и пророками. В Новом Завете сам Дух – Закон, и он повсюду. Он, конечно, вдохновляет и защищает Церковь, но если мы не способны его увидеть в незнакомце, в чужеземце, то мы не увидим его даже в Церкви. Мы должны найти его в нашем вра-

ге, иначе мы потеряем его даже в друге. Мы должны найти его в язычнике, иначе мы потеряем Его в самих себе, подменив Его живое присутствие пустыми абстракциями. Как мы можем раскрыть другим то, чего не можем открыть в них сами? Значит, мы должны видеть правду в чужестранце, и правда, которую мы видим, должна быть новой живой правдой, а не проекцией нашей мертвой идеи – проекцией нас самих на чужого человека.

Осквернение, десакрализация современного мира проявляется, прежде всего, в том, что чужой не принимается во внимание. Если он «перемещенное лицо», он абсолютно неприемлем. Он не входит ни в одну знакомую категорию, он необъясним, поэтому угрожает нашему самодовольству. Все, что трудно объяснить, должно быть стерто, и вместе с этим должна быть выброшена тайна. Присутствие чужого может нарушить поверхностную и фальшивую ясность наших рассудочных доводов.

6

«Чужого», инородца можно морально уничтожить несколькими способами. Достаточно уничтожить в нем все непривычное и смущающее нас. Давлением, убеждением или силой можно навязать ему свои идеи и свое отношение к жизни. Его можно обработать, промыть мозги. Тогда он перестанет отличаться от нас. Его приспособили к собственному мироощущению. Гог, который все делает основательно, верит в полное уничтожение различий и сводит каждого к точной копии себя. Магог в большей степени идеалист, дон кихот: чужой становится частью его собственных фантазий, частью коллективной мечты, созданной для него на Мэдисон авеню и в Голливуде. Его нельзя использовать для практических целей. Он даже исчез из виду. Его заменил фантастический образ. Существует лишь стереотип, созданный бюро путешествий. Его можно лишь смутно и поверхностно увидеть и выразить ему одобрение.

Этим объясняется фальшивый космополитизм наивного туриста и бизнесмена, путешествующего с фотоаппаратом, биноклем, экспонометром, в солнцезащитных очках. Он глазееет по сторо-

нам, но не способен что-то увидеть. Он слишком послушен своим инструкторам, которые ему все заранее растолковали. Он верит в рекламу бюро путешествий и покупает по его совету билет, который приведет его в любую точку земного шара. Ему сказали, что он увидит, и он полагает, что он это видит. Или если ему это не удастся, он недоумевает, почему он не видит то, что надеялся увидеть. Ни при каких обстоятельствах ему не приходит в голову заинтересоваться тем, что там есть. И еще меньше – вступить в человеческий контакт с людьми, которых он встретил. Он, конечно же, не сомневается в их статусе разумных животных, как колонисты прежних эпох, обученные схоластами. Ему просто не приходит в голову, что у них может быть своя жизнь, дух, мысль, самобытная, своеобразная культура.

Он даже не знает, почему он путешествует: он делает это по совету других людей. Даже дома он чужд самому себе. А вне дома он вдвойне отчужден от себя. Возможно, он не может понять, что у чужестранца есть нечто очень ценное, незаменимое, что он может ему дать: то, что нельзя купить за деньги, что не могут оценить журналисты, не используют политические агитаторы, – духовное общение с близким другом, который принадлежит к иной культуре. У туриста есть все, кроме братьев.

Турист ни с кем не встречается, он не найдет брата в чужестранце. Это его трагедия, и это была трагедия Гога и Магога, особенно Магога, во всех уголках мира.

Если бы американцы через сто пятьдесят лет поняли, что латиноамериканцы, действительно, существовали. Что они были людьми. Говорили на другом языке. Имели свою культуру. Что у них было что-то еще, кроме торговли! Деньги полностью растлили братство, которое должно было объединить все народы Америки. Они разрушили связь, духовное общение, которое уже начало расцветать во времена Боливара. Но нет! Большинство американцев все еще не знают и не хотят знать, что в Бразилии говорят не по-испански, что не все латиноамериканцы живут ради одной сиесты, что не все они целыми днями и ночами играют на гитарах и занимаются любовью. Они так и не поняли, что

Латинская Америка культурно выше Соединенных Штатов, – не только богатое меньшинство, которое впитало в себя европейское знание, но и страшно бедное местное население, укорененное в прошлом, и эта культура остается непревзойденной на нашем континенте.

Поэтому турист с отвращением пьет текилу и по совету местных жителей ждет фиесты. Как он может понять, что в индейце, идущем по улице с половиной домашнего скарба на голове и с прорехой в штанах, живет Христос? Турист считает, что называть индейца Иисусом просто нелепо.

7

Но довольно о современности. Я не пророк, да и никто не пророк; мы научились без них обходиться. Но я бы сказал, что если Гог и Магог должны уничтожить друг друга, чего они так страстно желают, было бы очень жаль, если бы выжившие в Третьем мире попытались воспроизвести их коллективное отчуждение, ужас и безумие и построить другой порочный мир, который уничтожит другая война. Третий мир должен извлечь урок из нынешней ситуации, урок жизненно важный: он не должен походить на гигантов – Гога и Магога. Посмотрите на то, что они делают, и поступайте по-другому. Обратите внимание на их официальные заявления, их идеологии, и вы без труда увидите, что они пустые. Посмотрите на их поведение: шумиху, насилие, лесть, лицемерие. По плодам узнаете их. В своем бахвальстве они стали жертвами собственного страха, знаменующего их духовную пустоту. Они претендуют на гуманизм, на то, что знают и любят человека. Они утверждают, что хотят освободить человека. Но они не знают, что такое человек. Они сами менее человечны, чем были их отцы, туманнее выражают свои мысли, менее чувствительны, глубоки, не способны на подлинное участие. Они превращаются в гигантских насекомых. Их общества стали муравейниками, не имеющими ни цели, ни смысла, ни духа, ни радости.

Чем плох их гуманизм? Это гуманизм термитов, потому что без Бога человек становится насекомым, червяком, и даже если он

умеет летать, что с того? И муравьи летают. Даже если человек облетит всю вселенную, он все равно останется лишь летающим муравьем, пока не восстановит человечность и дух в глубине своей личности.

Карл Маркс? Да, он был гуманистом с гуманистическими интересами. Он понимал глубинные причины отчуждения, и в этом понимании даже было что-то духовное. Маркс бессознательно строил свою систему на религиозном фундаменте, на мессианстве Ветхого Завета, представляя себя Моисеем. Он кое-что понимал в освобождении, потому что прообразы Исхода были у него в крови. Он имел полное право строить «научную» теорию, опираясь на религиозный символизм. Маркс не просто записывал первое, что приходило ему в голову, не прибегал к поверхностным умозаключениям. Он не превращал свое учение в догму, как это делали его последователи. Он оставался человеком. А они?

В конечном счете, не бывает гуманизма без Бога. Маркс думал, что гуманизм должен быть атеистичным, потому что понимал Бога не лучше самодовольных формалистов, которых он критиковал. Как и они, он считал, что Бог – это идея, отвлеченная сущность, часть интеллектуальной надстройки, созданной для того, чтобы оправдать экономическое отчуждение. Но в Боге нет ничего отвлеченного. Он не застывшая сущность, не объект мысли, не чистая идея. Динамика, которую Маркс искал в истории, похожа на ту динамику, которую открывает нам Библия. Освобождение от религиозного отчуждения – центральная тема Нового Завета. Но эта тема была не понята. О ней слишком часто забывали. Однако, в ней – средоточие тайны Креста.

8

Я не просто покорно ожидаю грядущего, но соглашаюсь с ним, понимаю его так, как его не позволяет понять прагматичный реализм. Какими бы бессмысленными ни были Гог и Магог, бедствия, которые они несомненно устроят, исполнены смысла и света. Из их нигилизма и ужаса рождается уверенность и мир для всякого, кого им не удастся запутать. Худшее, что они могут

нам сделать, – убить, но смерть не страшна. Разрушение тела не касается родников жизни.

Когда упадут бомбы? Кто знает? Возможно, Гог и Магог должны усовершенствовать свою политику и оружие. Возможно, они должны проделать кропотливую и искусную работу, чтобы сбросить «чистые» бомбы без побочного эффекта. Звучит беспристрастно, даже человеколюбиво. Прелестная, гуманная хирургическая операция. Быстрая, эффективная, стерильная, чистая. Таким был идеал нацистов, проводивших свои эксперименты двадцать лет назад в лагерях уничтожения, но, конечно, они не продвинулись так далеко, как мы. Они добросовестно посвятили себя отвратительной работе, которую не могли бы произвести в клинических условиях. Однако они сделали все, что могли. Гог и Магог доведут эту работу до совершенства. Я слышал, что они разрабатывают бомбу, которая будет уничтожать все живое: людей, зверей, птиц, возможно, растительность. Но она не тронет здания, фабрики, железные дороги, природные ресурсы. Еще один шаг вперед, и оружие будет доведено до абсолютного совершенства. Оно будет уничтожать книги, произведения искусства, музыкальные инструменты, игрушки и сады, но не уничтожит флаги, оружие, виселицы, электрические стулья, газовые камеры, орудия пыток или смиренные рубашки, необходимые на случай, если кто-то выживет. Тогда наконец-то начнется эра любви. Победит атеистический гуманизм.

Good Work

МОЛЧАНИЕ

Дождь стихает, и чистое пение птицы неожиданно возвещает разницу между раем и адом.

Бог – наш Создатель и Спаситель – дал нам язык, на котором мы можем говорить о Нем, поскольку вера от слышания, и наш язык – ключ, открывающий Небо и рай другим людям.

Но когда Господь приходит как Жених, не нужно ничего говорить, кроме того, что Он грядет и что мы должны выйти Ему навстречу. *Ecce Sponsus venit! Exite obviam ei!*³⁷

После этого мы идем дальше, чтобы найти Его в одиночестве. Там мы общаемся с Ним одним, без слов, без разбегающихся мыслей, в молчании всего нашего существа.

Когда то, что мы говорим, предназначено только для Него, это трудно выразить в словах. То, что невозможно пересказать, не подлежит анализу. Мы знаем, что об этом нельзя говорить, потому что это нельзя выразить.

Но прежде, чем мы придем к неизреченному и невообразимому, Дух парит над границей языка, не зная, остаться ли в своих владениях, чтобы принести оттуда что-то другим людям. Это испытание для тех, кто хочет пересечь границу. Если они не готовы оставить свои идеи и слова позади себя, они не могут идти дальше.

Если вы уединяетесь с молчаливыми устами, молчание немых духовных существ подарит вам частицу своего покоя.

Но если вы уединяетесь с молчащим сердцем, молчание творения заговорит громче, чем языки человеческие или ангельские.

37 «Вот жених идет, выходите навстречу Ему» (Мф 25:6).

Молчание языка и воображения ломает барьер между нами и миром вещей, существующих только для Бога, а не ради самих себя. Смолкшее беспорядочное желание уничтожает преграду между нами и Богом. Тогда мы начинаем жить в Нем одном.

Тогда своим молчанием с нами говорят уже не немые существа. С нами говорит Сам Бог куда более глубоким молчанием, скрытым в глубинах нашей души.

Те, кто любят свой шум, нетерпеливы ко всему остальному. Они постоянно оскверняют молчание лесов, гор и морей. Своими машинами они пробивают себе путь сквозь молчаливую природу из страха, что тихий мир обвинит их в том, что они пусты. Продвигаясь вперед, они упорно не обращают внимания на тишину природы и делают вид, что у них есть какая-то цель. Шумный самолет на миг отрицает реальность облаков и неба своим движением, шумом и напускной силой. Тишина облаков останется, когда самолет улетит. Тишина облаков пребудет, когда самолет развалится на части. Молчание мира реально. Наш шум, наши дела, цели, все наши бессмысленные рассуждения о них – все это иллюзии.

Бог присутствует, и Его мысль живет и бодрствует в необъятном молчании мира. Господь смотрит из миндального дерева на то, как исполняются Его слова³⁸.

Пролетит ли самолет сегодня ночью или завтра, проедут ли по извилистой дороге машины или нет, беседуют ли люди в поле, звучит ли радио в доме или нет, дерево приносит плоды в молчании.

Полон ли дом детьми или пуст, отправляются ли люди в город или работают в поле на тракторе, входит ли корабль в гавань, полную туристов или солдат, миндальное дерево приносит плоды в молчании.

38 «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева» (Иер 1:11).

Есть люди, для которых дерево не станет реальностью, пока они его не срубят, для которых животное не имеет ценности, пока его не отправили на бойню, которые обращают внимание на вещь, лишь когда желают ее использовать или уничтожить. Эти люди едва ли узнают молчание любви, ибо их любовь поглощает молчание другого человека своим собственным шумом. И поскольку они не знают молчания любви, они не могут узнать молчания Бога, Который есть милосердная любовь, Который не может уничтожить то, что любит, и в соответствии со Своим собственным законом любви обязан дать жизнь всем тем, кого Он привлекает в Свое молчание.

В нашей жизни молчание существует не ради него самого. Оно предназначено для чего-то другого. Молчание – мать речи. Жизнь, проведенная в молчании, направлена на последнее торжественное заявление, высказывание о том, ради чего мы жили.

Жизнь и смерть, слова и молчание даны нам ради Христа. Во Христе мы умираем для плоти и оживаем в духе. В Нем мы умираем для иллюзий и живем для правды. Мы говорим, чтобы возвестить о Нем, и молчим, чтобы размышлять о Нем и глубже войти в Его молчание, которое вбирает в себя молчание смерти и вечной жизни, молчание Страстной Пятницы и мир пасхального утра.

Мы принимаем молчание Христа в наши сердца, когда впервые произносим слово веры от всего сердца. Мы совершаем наше спасение в молчании и надежде. Молчание – сила нашей внутренней жизни. Молчание входит в самую сердцевину нашего нравственного бытия, так что если у нас нет молчания, то нет и нравственности. Молчание таинственным образом пронизывает все добродетели и предохраняет их от порчи.

Если мы наполняем нашу жизнь молчанием, то мы живем с надеждой, и Христос живет в нас и укрепляет нашу добродетель.

Потом, когда придет время, мы открыто исповедуем Его перед людьми, и наше исповедание обретает огромный смысл, потому что уходит корнями в глубокое молчание. Оно пробуждает молчание Христа в сердцах тех, кто нас слышит, так что они сами умолкают и начинают дивиться и слушать. Ибо они начали открывать свое истинное «я».

Растратив себя в празднословии, мы никогда не услышим ничего в глубине наших сердец, где живет Христос и где Он говорит в молчании. В конце же концов, когда от нас потребуются вся наша решимость, мы и вовсе лишимся дара речи, потому что без умолку говорили, не имея, что сказать.

Должно быть такое время дня, когда человек, который строит планы, забывает о них и действует так, словно у него нет никаких планов.

Должно быть такое время дня, когда человек, который должен говорить, погружается в глубокое молчание. Его ум не выдвигает никаких идей, и человек спрашивает себя: «Есть ли в них смысл?»

Должно быть такое время, когда человек молитвы начинает молиться, словно впервые в жизни, когда человек решительный откладывает свои решения в сторону, словно все они развеялись, и учится другой мудрости: как отличать солнце от луны, звезды от тьмы, море от суши и ночное небо от склона холма.

В молчании мы учимся различению. Те, кто бегут от молчания, бегут и от различения. Они не хотят видеть слишком ясно. Они предпочитают расплывчатость.

Человек, который любит Бога, непременно любит молчание, потому что боится утратить дар различения. Он боится шума, который притупляет наше ощущение реальности. Он избегает бесконечного движения, которое сбивает все существа в груды неразличимых вещей.

Святой безразличен к своим желаниям, но отнюдь не безразличен к разным проявлениям жизни.

Взгляните на мертвеца, который сотворил себе кумира из безразличия.

Его молитва не возгревала, а охлаждала его пыл.

Его молчание ни к чему не прислушивалось и потому ничего не услышало и ничего не могло сказать.

Пусть прилетят ласточки и совыют гнезда на месте прожитой им жизни и научат птенцов летать над пустыней, в которую он превратил свою душу, чтобы прожитая им жизнь не оказалась совсем никчемной.

Не нужно относиться к жизни как к бесконечному потоку слов, который, в конце концов, будет остановлен смертью. Жизнь зарождается в молчании, поднимается на поверхность, когда нам приходится что-то говорить, еще глубже погружается в молчание, завершается в последнем слове, а потом тихо восходит в молчание Небес, наполненное нескончаемой хвалой.

Те, кто не знают, что есть другая жизнь после этой жизни, или не могут заставить себя жить во времени, думая, что они вечны, заглушают постоянным шумом плодоносное молчание своей души. Даже когда их уста сомкнуты, их разум продолжает болтать без умолку и бормочет что-то бессмысленное, либо они прячутся за шумом машин и радио. Когда их собственный шум прекращается, они погружаются в шум других людей.

Как трагично, что те, кому нечего сказать, постоянно самовыражаются, словно стрелки, у которых сдали нервы, выпускающие патроны один за другим во тьму, где нет никакого врага. Причина их болтовни – смерть. Смерть – это враг, который каждую минуту противостоит им в глубокой тьме и молчании их собственно-

го существования. Поэтому они пытаются перекричать смерть. Искажают свою жизнь шумом. Оглушают себя бессмысленными словами, за всю свою жизнь не поняв, что их сердца укоренены в молчании, которое есть жизнь, а не смерть. Они забалтываются до смерти, боясь жизни, как будто она – смерть.

Вся наша жизнь должна быть размышлением о нашем последнем и важнейшем решении: выборе между жизнью и смертью.

Мы все умрем. Но установка, с которой мы встречаем смерть, делает нашу смерть выбором смерти или жизни.

Если мы все время выбирали жизнь, то умерев, мы перейдем от смерти в жизнь. Жизнь духовна, а все духовное молчаливо. Если дух, который поддерживал пламя жизни в наших телах, позаботился напитать себя маслом, которое можно обрести лишь в молчании Божьей любви, то когда тело умрет, дух будет гореть на том же масле и тем же пламенем. Но если дух сгорел вместе с низменными маслами страсти, эгоизма или гордыни, то когда придет смерть, пламя духа выйдет наружу вместе со светом тела, потому что в светильнике не осталось масла.

В своей земной жизни мы должны ухаживать за своими светильниками. Мы должны в молчании наполнять их любовью к ближнему, время от времени что-то говоря и воздавая хвалу Богу, чтобы самим вырасти в любви, умножая ее в ближних, уча их путям мира и тишины.

Если смерть придет к нам как нежеланный гость, то потому, что Христос тоже был для нас нежеланным гостем. Ибо когда приходит смерть, вместе с ней приходит и Христос, принося нам жизнь вечную, которую Он купил для нас ценой собственной смерти. Поэтому те, кто любят истинную жизнь, часто думают о своей смерти. Их жизнь наполнена молчанием, предвосхищающим победу над смертью. Молчание делает смерть нашей слу-

жанкой и даже нашим другом. Мысли и молитвы, вырастающие из нашей молчаливой мысли о смерти, подобны растущим у воды деревьям. Это сильные мысли, которые преодолевают страх несчастья, потому что преодолели страсти и желание. Они поворачивают лицо нашей страждущей души к лику Христа.

Если я говорю, что вся жизнь в молчании направлена к последнему высказыванию, это не значит, что мы все должны стремиться умереть с благочестивыми речами на устах. Наши последние слова не обязательно должны иметь какое-то особое или волнующее значение, чтобы их стоило записывать. Каждая достойная смерть, каждая смерть, которая ведет нас от неопределенностей этого мира к безусловному миру и молчанию любви Христовой, сама по себе высказывание и итог. Она говорит либо словами, либо без них, что для жизни хорошо прийти к назначенному концу, чтобы тело вернулось в прах, а дух поднялся к Отцу по милости Господа Иисуса Христа.

В молчаливой смерти может быть больше красноречия и мира, чем в смерти, сопровождаемой яркими выражениями. Одинокая смерть, трагическая смерть может больше свидетельствовать о мире и милости Христа, чем многие безболезненные смерти.

Ибо красноречие смерти – это красноречие человеческой нищеты, сталкивающейся с богатством Божественной милости. Чем больше мы сознаем, как велика наша бедность, тем значительней будет наша смерть и ее нищета. Святые хотели быть самыми бедными в жизни и ликовали от высочайшей нищеты смерти.

No Man Is An Island

МУДРОСТЬ ПУСТЫНИ

В IV в. н.э. в пустынях Египта, Палестины, Аравии и Персии поселились люди, оставившие о себе странную память. Первые христианские отшельники покинули города языческого мира, чтобы жить в одиночестве. Зачем они это делали? На то было много разных причин, которые можно кратко передать одним словом: они искали «спасения». А что означало спасение? Конечно, не просто внешнее соответствие обычаям и требованиям того или иного сословия. В те дни люди остро сознавали строго индивидуальный характер «спасения». Они относились к обществу – языческому, ограниченному горизонтами и перспективами жизни «мира сего», как к кораблю, потерпевшему крушение, после которого каждый сам должен выплыть, чтобы спастись. Не будем на этом останавливаться и обсуждать, насколько они были правы: важно помнить, что так было. Эти люди считали, что позволить себе плыть по течению, пассивно принимая нормы и ценности этого общества, – настоящая катастрофа. То, что императором стал христианин, а символом мирской власти – Крест, лишь укрепляло их решимость.

Мы плохо понимаем, насколько странным было это бегство от мира, достигшего своей вершины (чуть не сказал безумия), в эпоху, когда мир официально стал христианским. Видимо, эти люди, как немногие современные мыслители, вроде Бердяева, считали, что «христианское государство» в принципе невозможно. Они сомневались в том, что христианство и политика могут когда-нибудь соединиться и произвести на свет полноценное христианское общество. Иными словами, они полагали, что возможно только одно христианское общество, духовное и отделенное от мира, – мистическое Тело Христово. Конечно, взгляд крайний, и вспоминать о нем в наше время, когда христианство со всех сторон обвиняют в отречении и уходе от мира, в том, что оно не сумело ответить на проблемы нашего века, почти возмутительно. Но не будем поверхностными. На самом деле, отцы-пустынники ответили на «вызовы своего времени» в том смысле, что

они, едва ли не единственные, опередили свое время и открыли путь к формированию нового человека и нового общества. Они олицетворяют собой «осевого человека» – термин современных философов (Ясперса, Мамфорда), предтечу современного персонализма. В XVIII и XIX вв. с их прагматичным индивидуализмом пришло в упадок духовное наследие осевого человека, столь многим обязанным отцам-пустынникам и другим созерцателям, и началось движение вспять к стадному мышлению, воцарившемуся в наше время.

Бегство этих людей в пустыню не было ни чистым отрицанием, ни чистым индивидуализмом. Они не восставали против общества. Отцы-пустынники отказывались подчиняться властям и сами не желали ни над кем властвовать. Они бежали не от общения – сам факт того, что они наставляли друг друга, доказывает, что они были чрезвычайно общительными. Они искали общества, в котором люди были бы действительно равны и единственным авторитетом после Господа был благодатный авторитет мудрости, опыта и любви. Конечно, они признавали необходимую власть епископов, но те были далеко и до великого оригеновского конфликта в конце IV в. мало говорили о том, что происходило в пустыне.

Отцы, прежде всего, искали свое истинное «я» во Христе. А для этого нужно было полностью отбросить ложное, внешнее «я», сложившееся в «миру». Они искали непроторенный, неизведанный путь к Богу. Они искали Бога, которого они одни могли найти, не Того, который был кем-то «дан» в готовом виде. Они не отвергали догматы христианской веры: они приняли их в самой простой форме. Но они не очень стремились (по крайней мере, в начале) участвовать в богословских спорах. Их бегство в засушливые просторы пустыни означало также отказ от споров, теорий, плетения словес.

Очевидно, что на этот путь мог ступить лишь очень рассудительный человек, чуткий к опознавательным знакам непроходимой пустыни. Отшельник должен был быть зрелым в вере, смиренным и крайне самоотверженным. Духовные катастрофы, настигавшие слишком самонадеянных провидцев, свидетельствуют об опасностях уединенной жизни, словно белеющие на песке кости. Пустынник не мог себе позволить быть просветителем. Не мог сохранить привязанность к своему «эго» или впасть в опасный экстаз своеволия. Он не мог оставить при себе ни единой крупички поверхностного, преходящего, им самим созданного «я». Он должен был раствориться во внутренней, скрытой реальности трансцендентного, таинственного, непознанного «я» и потерять себя во Христе. Он должен был умереть для ценностей преходящего существования, как Христос умер для них на Кресте, и воскреснуть из мертвых вместе с Ним в свете новой мудрости. Отсюда – жертвенность, начавшаяся с полного разрыва и отделенности от мира. Его жизнь протекала в покаянии, сокрушении о грехах, скорби о безумной привязанности людей к призрачным ценностям. Жизнь в одиночестве и труде, нищете и постах, милосердии и молитве дала возможность старому поверхностному «я» очиститься, чтобы постепенно возникло истинное, сокровенное «я», в котором верующий и Христос стали «единым Духом».

И наконец, главная цель всех этих усилий – «чистота сердца»: чистое незамутненное видение истинного положения дел, интуитивное постижение своей внутренней реальности, укорененной или скорее потерявшей в Боге через Христа. Плод этих усилий – *quies*, мир, покой. Не покой тела и даже не сосредоточенность возвышенного духа на некой светлой точке или вершине. Пустынники не искали экстаза. Немногие, познавшие его, оставили после себя поучения, которые до сих пор приводят нас в замешательство. Покой, который они искали, был просто здоровым самообладанием существа, которое уже не смотрит на себя, потому что его уносит совершенство свободы, сокрытой в

этом покое. Уносит куда? Туда, куда указывает сама Любовь или Божественный Дух. То есть покой был просто пребыванием вне пространства и мысли, без всяких забот о ложном, ограниченном «я». Спокойно обладая возвышенным «Ничто», дух тайно держался за «Все», не пытаясь узнать, чем он обладает.

Поэтому у отцов-пустынников было много общего с индийскими йогами и монахами дзен в Китае и Японии. Если бы мы вздумали искать кого-то, похожего на них, в современной Америке, нам пришлось бы заглянуть в самые необычные места. Такие люди трагически редки. Их не встретишь, гуляя по Манхэттену. Возможно, мы нашли бы кого-то, похожего на них, среди индейцев Пуэбло или Навахо, но там все другое. Там есть простота и древняя мудрость. Отцы-пустынники порывают с традиционным, общепринятым общественным укладом, чтобы выплыть и спастись в иррациональной пустоте.

Едва ли таких людей можно найти в наших созерцательных монастырях. Сейчас люди чаще покидают общество и «мир», чтобы влиться в другое общество – семью верующих. Они меняют одни ценности, идеи и обряды на другие. И поскольку у нас за плечами долгие века монашества, все это предстает в другом свете. Уклад монастырской семьи или общины стал традиционным, и для того, чтобы жить по уставу, необязательно прыгать в пустоту. Нужна лишь радикальная перемена обрядов и правил. Поучения отцов-пустынников и рассказы о них так прочно вошли в монашескую традицию, что мы уже не замечаем их удивительной самобытности. Можно сказать, что мы погребли их под спудом нашей собственной косности, забыв о духовных потрясениях и свободе отцов от каких бы то ни было условностей.

Отцы-пустынники были первопроходцами, которым не на что было опереться, кроме нескольких пророков, таких, как Иоанн Креститель, Илия, Елисей и апостолов. В остальном их жизнь была «ангельской»; они ступили на путь, по которому ходили лишь невидимые духи. Их кельи были огненной пещью Вавилонской, где они оказывались рядом с Христом.

Они не искали одобрения современников и не стремились навлечь на себя их недовольство, потому что перестали дорожить чужими мнениями. У них не было готовых учений о свободе, но они освободились, заплатив за свободу высокую цену.

Они обрели практичную смиренную мудрость, древнюю и вместе с тем вечную, способную открыть для нас источники, которые наше технологическое варварство загрязнило, даже совсем иссушило отбросами разума и духа. Наше время отчаянно нуждается в простоте отцов.

Какая нам польза от полетов на Луну, если мы не можем преодолеть пропасть, отделяющую нас от самих себя? Это одна из важнейших экспедиций, без которой все остальные не просто бесполезны, но и губительны. Вот доказательство: великие путешественники и колонизаторы эпохи Возрождения сумели совершить свои открытия именно потому, что были отчуждены от себя. Покоряя первобытные народы, они силой навязывали им собственную растерянность и отчуждение. Блестящие исключения, такие, как Фра Бартоломей де лас Казас, св. Франциск Ксаверий или отец Мэтью Риччи, лишь подтверждают правило.

Отцы-пустынники хотели быть «обычными» людьми. Убегая в пустыню для того, чтобы стать необычным, человек уносит с собой мир как мерило. Он может лишь созерцать самого себя, сравнивая себя с ненавистной ему нормой мира, который он оставил. Пустынники, которые так делали, сходили с ума. Простые люди, прожившие долгую жизнь среди камней и песков, пришли в пустыню, чтобы быть собой, обрести свое обычное «я» и забыть о мире, отделявшем их от них самих. Не может быть никакой другой веской причины для того, чтобы искать одиночество или оставить мир. Таким образом оставить мир – значит спастись и тем самым помочь спасти его. Это конечная и очень важная цель. Коптские отшельники, оставившие мир так, словно они спасались от кораблекрушения, не просто стремились спастись. Они знали, что ничего не могут сделать для других, пока будут барахтаться рядом с обломками затонувшего судна. Но ступив на твер-

дую землю, все можно переменить. Тогда у них будет не только власть, но и обязанность тащить за собой весь мир в безопасные воды.

Таков их парадоксальный урок нашему времени. Сказать, что миру необходимо новое движение, подобное тому, что привело этих людей в пустыни Египта и Палестины, было бы преувеличением. Конечно, наш век – время отшельников. Но воспроизвести простоту, суровость и молитву этих простых душ не достаточно. Мы должны превзойти их и всех, кто пошел дальше достигнутых ими пределов. Мы должны освободиться от участия в мире, который погружается в пучину бедствий. Мир стал иным. Мы с ним теснее связаны. Нам грозит куда более страшная опасность. И возможно, наше время короче, чем мы думаем.

Мы не можем повторить их путь. Но мы должны быть столь же последовательны и тверды в своей решимости разорвать все духовные цепи, сбросить чуждое иго, обрести наше истинное «я», открыть и развить нашу неотъемлемую духовную свободу, без которой невозможно Царство Божье. Здесь не место размышлять, что означает наше великое и таинственное предназначение. Оно еще неизвестно. Скажу только, что мы должны научиться у этих людей IV в., как относиться к предрассудкам, не поддаваться принуждению и бесстрашно пускаться в неведомое.

The Wisdom Of The Desert

АЙЯ-СОФИЯ

1. Рассвет. Заутреня.

Во всем видимом мире есть невидимая плодovitость, приглушенный свет, кроткая безымянность, скрытая цельность. Это таинственное Единство и Целостность – Премудрость, Матерь всего, *Natura naturans*. Во всем есть неисчерпаемая сладость и чистота, молчание, в котором таится источник деятельности и радости. Оно возникает в бессловесной мягкости и течет ко мне из невидимых корней всего творения, нежно привечая и приветствуя меня с невыразимым смирением. Это мое собственное существование, моя собственная природа, а также дар Мысли и Искусства от моего Создателя, таящийся во мне, говорящий как Айя-София, как моя сестра Премудрость.

Я проснулся, я возрождаюсь от голоса моей Сестры, посланной мне из глубин божественной плодovitости.

Что если я нахожусь в больнице и сплю? Но я и в самом деле там...Сегодня 2 июля, Праздник Посещения Пресвятой Девой Марией св. Елисаветы, Праздник Премудрости Божьей.

В полшестого утра я дремлю в тихой комнате, и мягкий голос пробуждает меня от сна. Я, как и все человечество, выбираюсь из ночных сновидений. Словно Христос пробуждается в каждом из нас, разделенных, разобщенных, одиноких, разбросанных по всем уголкам земли. Словно все наши умы, очнувшись от рассеянности, противоречивых целей и неразберихи, приходят к единству в любви. Так было в первое утро мира, когда Адам, услышав нежный голос Премудрости, очнулся от небытия и познал ее, и как в последнее утро мира, когда все части Адама оживут от голоса Святой Софии и узнают, где они пребывают.

Таково пробуждение человека утром от голоса сестры в больнице. Пробуждение от усталости и тьмы, беспомощности и сна, новое столкновение с действительностью, когда мы обнаруживаем, что она являет собой кротость.

Словно нас разбудила Ева. Словно нас разбудила Святая Дева. Словно мы вышли из первобытного ничтожества и очутились в чистоте, в Раю.

Медсестра касается меня прохладной рукой. – Прикосновение жизни, касание Духа.

Так Премудрость вызывает ко всем, кто ее слышит, Sapientia clamitat in plateis, в особенности – к малым сим, к непросвещенным и беспомощным.

Кто из людей меньше, бедней, беспомощней человека, спящего в своей постели без сознания и без защиты? Есть ли кто-то доверчивей его, кто каждую ночь вверяет себя сну? Какова награда за его доверие? К нему приходит кротость, когда он всего беспомощней, и будит его, овеянного свежестью, обретающего цельность. Любовь берет его за руку и открывает ему двери другой жизни, другого дня.

(Но он, который оборонялся, сражался с болезнью, строил планы, любил одного себя, всю ночь напролет обзирал свою жизнь и под конец смертельно устал. Для него нет ничего нового. Все старо и избито.)

Когда беспомощный просыпается от голоса милосердия, кажется, что Сестра его Жизнь, Преблагословенная Дева (его собственная плоть и сестра), Природа, ставшая мудрой благодаря искусству и Боговоплощению, стоят над ним и с невыразимой нежностью зовут его проснуться и жить. Вот что значит узнать Святую Софию.

II. Раннее утро. Молитва первого часа.

О благословенная, молчаливая, та, что говорит везде!

Мы не слышим мягкого, нежного голоса, милостивого и женственного.

Мы не слышим ни милости, ни уступчивой любви, ни непротivления, ни ответного удара. В ней нет ни рассуждения, ни ответов. И все же она – чистота божественного света, выражение Его простоты.

Мы не слышим безропотного прощения, которое склоняет невинные лица цветов к росистой земле. Мы не видим Младенца – пленника всех людей, который не произносит ни слова. Она улыбается и, хотя они связали ее, она не может быть пленницей. Не потому, что она не сильна или не умна, а потому, что не признает заточения.

Беспомощного, оставленного в тихом сне, его, кроткого, разбудит София.

Вся ее нежность будет неустанно говорить с ним через все, что его окружает, и он уже никогда не будет прежним. Он пробудится от сна не для завоевания и темного наслаждения, а для непогрешимой чистой простоты Единого сознания, просвечивающего во всем и через все: одна Премудрость, один Младенец, один Замысел, одна Сестра.

Звезды радуются, когда они заходят и когда восходит Солнце. Небесные огни радуются тому, что человек отправляется в путь, чтобы создать новый мир поутру, потому что он вышел из смутной первобытной темной ночи, дабы придти в сознание. Он выразил ясное молчание Софии в своем сердце. Он стал вечным.

III. Утро. Час третий.

Солнце пылает в небе, как лик Божий, но нас не устрашает. Его свет рассеян в воздухе, и свет Божий рассеивается Святой Софией.

Мы не видим Ослепительного в темной пустоте. Он кротко говорит с нами через творения, в которых Его свет – единая полнота и единая Мудрость.

Так он изливает Свой свет не на них, а из них. Таково милосердие Премудрости.

Все совершенство творения пребывает в Боге; поэтому Он – одновременно Отец и Мать. Как Отец Он – одинокая мощь, окруженная тьмой. А как Мать – нежное объятие и свет. Разлитое по миру сияние Бога – это Айа-София. Та, которую мы называем Его «славой». В Софии Его сила проявляется лишь как милость и любовь.

(Когда затворники XIV века в Англии слышали колокольный звон и глядели на холмы и долины под добрым небом, они обращались в своем сердце к «Иисусу – нашей матери». София пробуждалась в их детских сердцах).

Возможно, в каком-то очень примитивном смысле София – это неизвестная, темная, безымянная Усия. Быть может, она даже Божественная Природа, единая в Отце, Сыне и Святом Духе. И возможно ее нет в бесконечном свете, и она даже не желает открыться как Свет. Этого я не знаю. Из тишины говорит Свет. Мы не слышим или не видим его до тех пор, пока он остается неизреченным.

В безымянном, безначальном начале свет. Мы не видели этого Начала. Я не знаю, где она, в этом Начале. Я говорю о ней не как о Начале, но как о воплощении.

Теперь Премудрость Божья, София, властно простирается из «конца в конец» мира. Она желает быть невидимым центром всей природы, центром и значением всего света, который пребывает во всем и для всего. Беднейшая и смиреннейшая, сокрытая во всех вещах, однако, очевидней всего в них и проявляет себя, ибо она – их собственная суть, пребывающая перед нами, нагая и беззаботная.

София, женственное дитя, играет в мире, очевидно и незримо играет во все времена перед Создателем. Ее радость – быть с Его детьми. Она их сестра. Сердцевина жизни, существующая во всех вещах, – нежность, милость, девственность, Свет, Жизнь, которую

считают пассивной, полученной, данной, принятой, неизменно обновляемой Даром Божиим. София – это Дар, Дух, *Donum Dei*. Она дарована Богом и Она – Сам Бог как Дар. Бог во всем и Бог, сведенный к Ничто: неисчерпаемое ничто. *Exinanivit semetipsum*. Истошил себя. Смирение как источник неизменного света.

Айя-София присутствует во всем творении. Это Божественная Жизнь, отраженная в нем как свободное участие, как приглашение на Брачный пир.

Через Софию Бог делится Собой с творением. Она – Его излияние и любовь, через которую Он отдает себя. Через нее мы познаем и любим Его.

Она наполняет собой творение, как воздух, пронизанный солнечным светом. И творение расцветает в ней. В ней оно славит Бога. В ней оно радостно отражает Его. В ней оно соединяется с Ним. Она объединяет всех воедино. Она – Любовь, которая объединяет все. Она – жизнь как причастие, жизнь как благодарение, жизнь как хвала, жизнь как праздник, жизнь как слава.

Поскольку она совершенна и вбирает в себя все, в ней нет ни пятна, ни порока. Она – любовь непорочная и благодарность без самодовольства. Ее восхваляют все, оставаясь собой и участвуя в Брачном пире. Она – Невеста и Пир, и Брак.

Женское начало мира – неисчерпаемый источник творческой реализации Отчей славы, Его проявление в лучезарном блеске! Но она остается незримой, лишь немногие замечают ее. Бывают времена, когда ее никто не знает.

София – милость Божья в нас. Она – сама нежность, благодаря которой бесконечно таинственная сила прощения рассеивает тьму наших грехов светом благодати. Она – неисчерпаемый источник доброты и сама в себе милость.

Она совершает в нас еще большую работу, чем Сотворение мира, – созидание нового бытия в благодати, работу прощения и превращения из блеска в блеск, *tamquam a Domini Spiritu* (как от Духа Божьего). Она – уступчивый и нежный двойник силы, справедливости и творческой динамики Отца в нас.

IV. Закат Солнца. Повечерие. Радуйся, Царице.

Преблагословенная Дева Мария – сотворенное существо, которое являет собой и возвещает все, что сокрыто в Софии. Поэтому ее можно назвать проявлением Софии, Которая скорее Усия, нежели Личность.

Природа в Марии становится чистой Матерью. Природа в ней такова, какой она была от ее Божественного рождения. В Марии Природа совершенно мудра и проявляется как всевидящая, все-любящая, Пречистая личность: не Творец и не Искупитель, а совершенное Творение, полностью искупленное, плод великой божественной силы, совершенное выражение милосердной премудрости.

Это она, Мария, София в печали и радости и полном сознании того, что она делает, возлагает на Второе Лицо, Логос, венец Его человеческой природы. Так ее согласие открывает Слову Божьему дверь сотворенной природы, времени, истории.

Бог входит в Свое творение. Через ее мудрый ответ, через ее послушное понимание, через нежное уступчивое согласие Софии Бог бесшумно, не привлекая к себе внимания, входит в город свирепых людей.

Она венчает Его не славой, а тем, что больше славы: а больше славы – слабость, ничтожность, бедность.

Она посылает бесконечно Богатого и Могущественного как бедного и беспомощного с миссией невыразимой милости, и Он умирает за нас на Кресте.

Воцаряется тьма. Появляются звезды. Засыпают птицы. Ночь обнимает молчаливую половину земли. Скиталец, бродяга в пыльных башмаках идет по новой дороге. Бездомный Бог, затерявшийся в ночи, без документов, без удостоверения личности, хрупкий изгнанник, который не значится ни в каких списках, ложится на землю в одиночестве под нежными звездами мира и вверяет Себя сну.

Emblems Of A Season Of Fury

ЗАВЕРШИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ПЕРВОЙ ДУХОВНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В КАЛЬКУТТЕ

Прошу вас встать и взяться за руки. Но сначала нужно понять, что мы должны создать новый язык молитвы. И этот новый язык должен превзойти наши традиции, должен родиться из нашей стихийной любви. Вскоре мы расстанемся, сознавая, что любовь соединяет нас, несмотря на действительно существующие различия и разногласия. То, что лежит на поверхности, ничего не значит; реально лишь то, что залегает глубоко. Мы созданы любовью. Поэтому давайте возьмемся за руки, как мы делали раньше, и я постараюсь выразить то, что родится в глубине наших сердец. Я прошу вас сосредоточиться на любви, которая живет в вас, живет во всех нас. Я совершенно не представляю, что я сейчас скажу, поэтому немного помолчу, а потом произнесу молитву...

Господи, мы едины с Тобой, Ты соединил нас с Собой. Ты научил нас тому, что если мы открыты друг другу, значит, Ты обитаешь в нас. Помоги нам сохранить эту открытость и бороться за нее всеми силами. Помоги нам понять, что не может быть взаимопонимания там, где царит взаимное отчуждение. Господи, принимая друг друга всем сердцем, целиком и полностью, мы принимаем и благодарим Тебя, поклоняемся Тебе и любим Тебя всем своим существом, потому что наше существование уходит корнями в Твое существование, и наш дух коренится в Твоем духе. Наполни нас и свяжи друг с другом любовью, когда мы пойдем своими путями, объединенные одним духом, благодаря которому Ты присутствуешь в мире и свидетельствуешь о высшей реальности, которая есть любовь. Любовь победила. Любовь торжествует. Аминь.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «СМЕХ ВО ТЬМЕ»

Роман В. Набокова «Смех во тьме» вышел в Европе под названием «Камера обскура» и уже получил признание. Русский эмигрант, живущий в Париже, создал странную, волнующую, необычную книгу. В ней бурлит жизнь, но когда история заканчивается, вся ее живость растекается в безумном лихорадочном движении по ровной поверхности, словно горящая на воде нефть.

Сюжет книги трагичный и вместе с тем знакомый. Это история человека по имени Альбинус³⁹, который был «богат, уважаем, счастлив; однажды он оставил жену ради молодой любовницы. Он любил, но не был любим, и его жизнь закончилась катастрофой». По мере развития событий авторский стиль становится все более комичным.

Книга хорошо начинается и держит нас в своей власти до тех пор, пока автор не начинает говорить трагическим или комическим тоном. Поэтому мы видим трогательного, богатого маленького пуританина Альбинуса, которого девица по имени Марго уводит с его добропорядочной орбиты. Легко понять, как это происходит. Мы видим, что она очаровательна, и способны оценить недовольство Альбинуса его комфортной жизнью, когда нам на это указывают. Следуя за быстрым передвижением любовников по ветреным, дождливым, берлинским улицам, мы не знаем, любим мы их или ненавидим, восхищаемся или презираем. Эта двойственность отнюдь не дефект; она делает книгу очень живой, и устранив ее, автор лишает произведение всей его подлинности. Когда действие достигает кульминации, появляется наименее убедительный из главных героев: светский, циничный парень по имени Рекс. Здесь автор открыто переходит к комедии. Альбинус деградирует и тянет за собой всю книгу. Теперь мы уверены: он так глуп, что не достоин жалости, а Марго слишком распутна, чтобы оставаться хоть сколько-нибудь очаро-

39 В англоязычной версии «Камеры обскуры» главные герои получили другие имена: Бруно Кречмар стал Альбинусом, Магда – Марго, Горн – Акселем Рексом.

вательной. Безусловная комедия слишком ярко осветила героев, и их прозрачность стала слишком очевидной.

Наблюдать за Рексом довольно забавно. Весьма неприятный тип. Он использует трюки Хорнера из комедии Уичерли «Деревенская жена»⁴⁰, чтобы занять место Альбинуса в сердце Марго, а Альбинус продолжает его содержать. Альбинус узнает правду, однако Марго уговаривает его не стрелять в нее. Прежде, чем случилось непоправимое, он разбивает голову в автомобильной катастрофе и слепнет.

Она увозит его в швейцарские Альпы. Рекс объявляет, что уезжает в Америку и сопровождает их в Швейцарию, где продолжает жить с Марго в том же доме втайне от Альбинуса. Не довольствуясь необходимой для этого ловкостью, Рекс придумывает множество злых шуток, чтобы потешиться над бедным малым.

Тут автор превзошел себя: розыгрыши Рекса тупые и вместе с тем страшные. Но они малоубедительны, поэтому не забавляют и не пугают нас. Рекс слишком искусственный персонаж, чтобы его действия и идеи обладали большой силой; они не интересны, как и он сам. Набокову недостает тонкости Андре Жида или Хаксли, когда он изображает интеллектуала. Рекс – всего лишь книжный циник.

Несколько слов о стиле. Перед нами стремительная, красочная, живая и часто остроумная книга. Обладая острым зрением, автор прекрасно передает движения и события. Он двумя словами может нарисовать образ девушки, снимающей с себя мокрое пальто, или вратаря во время хоккейного матча. Лаконизм и точность его наблюдений за внешним миром поразительны. Автор быстро и легко выстраивает сюжетную линию.

New York Herald Tribune (Books).

1938. May 15, p. 10.

40 Уильям Уичерли (1640–1716), английский драматург и поэт. В комедии «Деревенская жена» выведен повеса и распутник. Выдавая себя за евнуха, ему удается усыпить бдительность мужей.

ЭПИЛОГ

Большая часть мира либо спит, либо мертва. Верующие, в основном, спят. Неверующие мертвы. Спящие делятся на две категории, как девы из притчи, ждущие, когда придет жених. У мудрых припасено масло для светильников. То есть они равнодушны к себе и к заботам века сего и исполнены милосердной любви. Они действительно ждут жениха и желают лишь его прихода, даже если в этом ожидании их одолеет сон. Остальные не просто спят – они предаются другим желаниям и мечтам. Их светильники пусты, потому что они выгорели в плотской мудрости и тщеславии. Когда Он придет, у них уже не будет времени купить масло. Они зажгут свои светильники лишь после Его ухода. Они засыпают рядом со своими бесполезными светильниками, а когда просыпаются, снова зажигают их, чтобы исследовать этот умирающий мир.

No Man Is An Island

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

1941-1947 гг.

7 апреля 1941 Пасха. Кентукки, Гефсиманское аббатство

Я живу в самом центре Америки. Меня давно занимало, что скрепляет страну воедино, что удерживает вселенную и не дает ей разбиться вдребезги и распасться на куски. Этот монастырь, а может, не он один. (Должны же быть и другие).

Авраам молился Господу, чтобы Он пощадил Содом, если там найдется хоть один праведник. Препоблагословенная Богородица, Мария, Царица Небесная указывает Сыну на Его детей, живущих здесь, и их молитвы каждую минуту спасают мир от ужасной гибели.

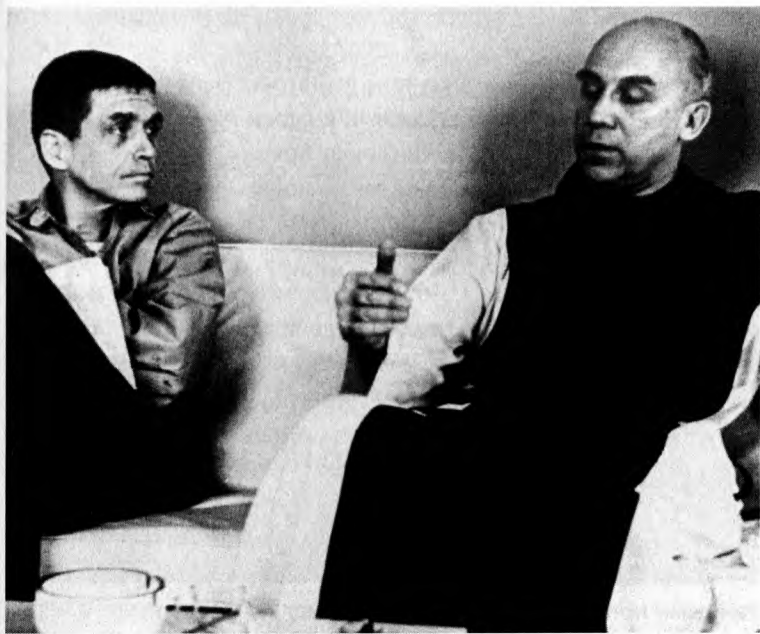
Это единственный подлинный город в Америке – в пустыне.

Ось, вокруг которой слепо вращается вся страна.

Вашингтон – сплошной гипс и штукатурка, грохочущие машины и умопомрачение. В этой стране нет другой столицы или центра, кроме Гефсиманского аббатства. Гефсимания скрепляет всю страну верой, которая вложена в наши души и не может быть отторгнута от них. Это огромный и великолепный дворец. Я не видел дворов царственных особ. И вот судьба привела меня ко двору, где у меня то и дело перехватывает дыхание. Я бывал в самых больших столицах мира и не видел там никаких дворцов – только железнодорожные вокзалы или кинотеатры. Здесь я неожиданно оказался при дворе Царицы Небесной, где Она восседает на престоле и принимает хвалу людей и ангелов. Говорю вам, что у меня захватывает дух. (Говорю кому? Находясь во дворце Царицы Небесной, с кем я могу говорить? Я лишь прошу позволения поцеловать землю, на которой построено это святое место).

8 апреля 1941. Наша Госпожа Гефсиманская

Как аббатство стало земным раем? Все дело в иерархии ценностей. Для добрых траппистов (а они добрые, святые люди) работа чрезвычайно важна и представляет собой череду покаяния



Томас Мертон и Дэн Берриган

и отдыха. Какой бы трудной она ни была, все равно это своего рода игра. Даже строжайшая епитимья – игра. И Литургия тоже. Траппист трудится, чтобы спасти душу. Чтобы умалиться, как дети, мы должны играть, как они, делать что-то не потому, что это физически необходимо, а свободно, почти произвольно, по любви. За строгостью траппистской дисциплины стоит эта полнейшая метафизическая свобода от физической необходимости, которая делает ее в онтологическом смысле игрой. Поскольку работа – игра, с помощью которой монах спасает душу, аббатство стало земным раем, потому что работа всегда приносит плоды. Здесь это община, ферма, прекрасные сады, часовня, леса, самая чистая в мире гостиница для паломников, чудесный хлеб, сыр, масло. Все это делает аббатство единственной, действительно лучшей общиной во всей стране и во всех смыслах – политическом, религиозном или любом другом.

10 апреля, 1941. Страстной четверг. Гефсиманское аббатство

Я специально не писал о том, что это за райское место. Пожалуй, более прекрасного места я в своей жизни не видел, во всяком случае, в Америке. Широкая долина, перемежающаяся холмами, леса, кедры, темно-зеленые поля – наверное, молодая пшеница. Монастырские амбары, виноградники.

На пригорке – статуя св. Иосифа посреди огромного поля; отсюда через неглубокий котлован дорога идет к деревне и железнодорожным путям, ведущим от Луисвилля в Атланту.

В окно тянет чудным запахом спелых полей – *agri pleni*.

Сегодня солнце пекло, как на Кубе. Тюльпаны во дворе распустились и раскраснелись. В каждой чашечке трудились пчелы, хотя на дворе еще только апрель. Фруктовые деревья цветут, и каждый день на деревьях, окаймляющих широкую аллею, ведущую к сторожке привратника, распускаются новые почки.

Трапписты в средневековых крестьянских капюшонах, с замотанными ногами, в самодельных башмаках бредут строем через виноградники; на колокольне звонят колокола. <...>

20 апреля 1947. Воскресенье Доброго Пастыря. День реколлекции

Если бы я должен был принять решения, то они были бы прежними, значит, в этом нет никакой нужды. И нет нужды размышлять над ними. Бессмысленно ломать голову над одним и тем же неделю за неделей и год за годом, обрезая все те же десять веточек с верхушки дерева. Смотри в корень: союз с Богом. Все остальное отринь и уйди в себя, чтобы найти Его в молчании, где Он сокрыт в тебе. Слушай, что Он хочет сказать тебе.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Вчера утром я составил завещание. Мы всегда составляем завещание перед тем, как принести торжественные обеты, освободившись от всего, словно собрались умирать. Звучит более театрально, чем есть на самом деле. Я отказался от всего земного



Скит св. Анны

и был вызван в комнату отца настоятеля: он отдал мне договор с издательством Harcourt Brace на издание «Семиярусной горы». Составив завещание, я поставил свою подпись на этом контракте. Всю прибыль от издания получит монастырь. А пока что я весь день писал деловые письма, делая всевозможные ошибки.

Сегодня утром перед причастием мне показалось, что эти обеты означают отказ от чисто созерцательной жизни. Если Иисусу угодно, чтобы я был здесь, в Гефсимании, как утверждают настоятели (*Quis vos audiet me audit*⁴¹), то, возможно, Он не хочет, чтобы я был чистым созерцателем.

Вскоре я пришел к выводу, что не могу решить эту проблему. Возможно, это не лучшее призвание в Церкви. Но это мое призвание. Вот что важно. Зачем мечтать о чужом призвании, даже если оно лучше твоего, но не твое? И как оно может быть моим, если меня тянет к другому призванию? Не спрашивай. Господь желает этой жертвы. Откуда я знаю? Не могу сказать. Мне так говорят.

41 Слушающий вас, Меня слушает (Лк 10:16).

Должен ли я им верить? Наверное, нет. Но что-то мне подсказывает, что у меня нет другого выхода. Моя совесть соглашается с настоятелем, и в миг просветления, когда я могу трезво все оценить, опыт напоминает мне, что это чувство пройдет, как проходило и раньше. Конечно, потом оно еще не раз вернется, прежде чем я о нем забуду.

Я был кадилщиком на заупокойной мессе. В довершении ко всем моим бедам не мог раздуть огонь. Зерна благовоний такие большие и грубые, что когда их кладут поверх угля, они сплавляются в плотную массу, которая гасит огонь и не дает дыма. Во время канона я раздувал уголь и испачкал руки в саже. Когда месса кончилась, забыл очистить кадило и положил его на место.

Сегодня день реколлекции. Мы должны размышлять о себе. У меня такое ощущение, будто прошел год с того дня, как я принес торжественный обет. На самом деле, прошел месяц. Чем больше я думаю о своем обете, тем я счастливей. Есть только одна вещь, ради которой стоит жить, – любовь к Богу. Есть только одно несчастье на свете – не любить Бога. Поэтому в дни реколлекций мне больно оттого, что моя душа все еще полна смятения, мрака, самолюбия, и сухой ветер поднимает в ней вихрь желаний. Куда бы я ни посмотрел, я всюду нахожу всякую чепуху, которая липнет ко мне, как к липучке.

Цистерцианская жизнь исполнена энергии. Приливы жизненной силы, прокатывающиеся по всей общине, будоражат даже лентяев. Здесь, в Гефсиманском аббатстве, мы – цистерцианцы и вместе с тем американцы. Опасная смесь. Наша энергия утекает вместе с нами. Мы выходим на работу, как университетская футбольная команда, занимающая поле.

Трапписты убеждены: все, что им тяжело дается, – Божья воля. Все, что заставляет вас страдать, – Божья воля. Если вы трудитесь в поте лица, – такова Божья воля. А всякое дело, не требующее большой затраты физических сил, вызывает подозрения. Можно ли его считать Божьей волей? Едва ли! Чтобы угодить Богу, мона-

стырь должен напоминать фабрику, производящую боеприпасы во время войны.

Когда мы чего-то хотим и этого трудно достичь, мы легко убеждаем себя, что такова воля Божья. Все, что легко, – моя воля, все, что трудно, – Божья. Если я желаю то, что трудно исполнить, значит, я хочу пожертвовать собой, творя волю Божью. Других критериев нет. Обожая трудности, мы иногда попадаем в глупое положение и, работая до изнеможения, угождаем не Богу, а себе. Мы думаем, что совершили подвиг, потому что выбились из сил. Если мы устремились в поля или леса и своротили горы, мы испытываем удовлетворение. Мы готовы сломать всю нашу технику, лишь бы раздавался оглушительный рев и поднимались клубы пыли. Мы своего достигли!

Целый день я ждал Тебя, истекая ядом неумной деятельности... Господи, я ждал Твоего молчания и мира, которые должны были остановить и очистить меня.

Ты исцелишь мою душу, когда Тебе будет угодно, ибо я поверил в Тебя.

Больше не буду мучить себя мыслями и вопросами, язвящими меня, как тернии: это покаяние, которого Ты не просишь.

Ты создал мою душу ради Твоего мира и Твоего молчания, которое нарушает моя шумная деятельность и желания. Жажда опыта, новых идей, удовлетворения постоянно терзает мой ум. И в доме моем еще не воцарилось молчание.

Но я был создан ради Твоего мира, и Ты не уничижишь мое стремление к Твоему молчанию и святости. Господи, Ты не оставишь меня навек скорбящим, ибо я поверил в Тебя и буду мирно ждать Твоего благоволения, не докучая Тебе жалобами. Но все во славу Твою!

Хорошо, что на этих страницах я такой, как в жизни: шумный, полный несовершенств и страстей, с отверстыми ранами, оставленными моими грехами. Полный собственной пустотой. Как мой разрушенный дом, в котором живешь Ты!

Багряные, темно-коричневые и медные холмы и леса, небо ясное, на нем – лишь редкие облака. Мимо пролетает сарыч и присматривается ко мне, но я пока еще жив. Этот лесной и холмистый пейзаж пропитан моими молитвами, псалмами и книгами, которые я читаю, сидя под деревом, заглядывая за стену, не на мир, а на нашу рошу и наше одиночество. Вот мои сокровища, которыми я владею с тех самых пор, как дал простые обеты и вышел из послушничества.

Сегодня утром я вновь пришел сюда, читал 118-й и степенные псалмы⁴², глядя на холмы. Заканчиваю псалтырь по усопшим, последнюю в этом году. Заканчиваю слишком рано. Осталось еще пять дней. Мне нравится. Как это важно! Когда я стану священником, мне уже не нужно будет читать псалтырь, потому что вместо этого священник служит обедню. Иногда я думаю, что мне бы хотелось читать псалмы во время Тридцатидневной мессы. Но, наверное, у меня не будет для этого времени.

Что толку сетовать, что я не созерцатель, если я сам пренебрегаю возможностями для созерцания? Вернее использую их, но неправильно. Вместо того, чтобы умолкнуть, опустошить свой ум и распахнуть внутреннюю дверь Святому Духу, когда все внешние двери закрыты и ставни опущены, я ищу книги о созерцательной жизни, которые насытили бы мой вульгарный духовный аппетит.

Годовщину вступления в орден я провел в лазарете. Наверное, это великая милость Святого Иосифа. Он явно устроил меня сюда с одной целью – чтобы я мог провести реколлекцию в этот день и сделать его счастливым.

Входя в келью, я становлюсь другим человеком! Молитва становится тем, чем и должна быть. Кругом тишина и мир. Дверь закрыта, а окна я оставляю открытыми. Тепло. По небу плывут серые облака, день и ночь квакают лягушки. <...>

42 Пс 119–133 или «песни степеней», которые пелись паломниками при восхождении на ступени Иерусалимского храма.

У меня много свободного времени. Ни рукописей, ни печатных машинок, ни походов в церковь и обратно, ни скрипториев... Не нужно лезть из кожи вон, чтобы переделать все дела.

Пошел в капитул, потому что отец настоятель хочет, чтобы мы ходили в капитул, если у нас температура меньше 100 F. У меня она меньше. Отец Аполлинарий произнес проповедь о страданиях св. Иосифа, узнавшего, что Мария беременна. Мне не следовало улыбаться, когда отец Аполлинарий сказал, что Авраам родился через 1959 лет после сотворения мира. Не могу понять, почему он считает, что это событие отмечают в следующем, т.е. 1949 году. Но он говорит такие вещи: они приходят ему в голову, и он говорит.

Потом я вернулся в келью. На столе – хлеб, масло и банка ячменного кофе. Перед тем, как я прочел *Largitor*⁴³, пришел отец Джерард с бутылкой церковного вина. Она была почти полной, потому что отец Одо не мог служить мессу. «Сегодня праздник», – сказал он и налил мне полстакана вина. Он не знал о моей годовщине, но потом я понял: все это устроил св. Иосиф, чтобы я ощутил любовь Божью и порадовался.

Я с удовольствием выпил вина, которое вернуло мне аппетит: вчерашнее масло было скверным, неудобоваримым.

Потом пододвинул стол к окну и ел, глядя в окно, как делают картузианцы. Плыли облака, утиные домики были пусты, и лягушки квакали в великолепном зеленом пруду.

Уже вечер. Лягушки не умолкают. После полуденных ливней небо прояснилось. Днем я сидел на кровати, вновь и вновь открывая для себя смысл созерцания, открывая Бога, себя и свое служение, Писание и все прочее.

То был один из чудеснейших дней в моей жизни, но и за него я не держусь. Всякое удовольствие и отрада, которые я мог бы извлечь из молчания, одиночества и свободы от забот, не имеют

43 Молитва: «*Largitor omnium bonorum, benedicat cibum et potum servorum suorum*» (лат.). – «Податель всяческих благ, да благословит рабов своих, их пищу и питье».

значения. Знаю, что именно так я и должен жить: с молчаливым умом и чувствами, оборвав все контакты с миром бизнеса и войны, не ища ничего высокого или низкого, далекого или близкого. Не идти на поводу у своих фантазий, желаний, планов, не дать унести меня потоку дел, который проносится по нашему миру.

Вчера после всенощной накануне перерыв перед трапезой показался необычно долгим. Был постный день, и мы довольно рано ушли из трапезной. Солнце стояло выше обычного, и я увидел окрестности в новом свете. Низкие косые лучи оттеняли листву и высветили пшеничное поле на фоне темного леса, растущего на тенистых пригорках. Красота неопишуемая. Глубочайший мир. Овцы на склонах за овечьим загоном. Новые шпалеры в саду прогибаются под тяжелыми розами. Кардиналовая овсянка запела в орешнике, груды пахучих стволов вокруг дровяного сарая словно дожидались, когда их будут рубить в плохую погоду.

На меня снизошло глубочайшее спокойствие, душа и дух замерли. Для практики созерцания пейзажи чрезвычайно важны, во всяком случае, мной они бесконечно любимы.

Разве св. Хуан де ла Крус не укрылся в церковной башне, в комнате с маленьким оконцем, откуда можно было рассматривать округу?

Два последних дня поста и молитвы походили на великие праздники. В пятницу и в самом деле праздник – День стигматов св. Франциска; я на пустой желудок сидел на церковном дворе и молился, пока ветер раскачивал деревья; рядом никого не было, по небу медленно плыли облака, и красные осы ползли вверх по церковной стене, цепляясь друг за друга. Интересно, почему они каждую осень залезают на карниз боковых приделов, и когда порыв ветра сметает их стайки в кусты, они вновь и вновь карабкаются вверх?

День и ночь размышляю о св. Франциске, о бедности, перечитываю седьмую главу св. Бонавентуры «Itinerarium».

Прекрасней всего то, что наконец-то я могу взяться за дело. Тридцатидневная месса уже началась. В субботу, тщательно по-

брившись, мы пошли в сад и собирали яблоки, согнувшись в три погибели под низкими ветвями, как согбенная женщина из Евангелия. Сегодня сгребали в канавы грязь, вымытую дождем с овечьих пастбищ, и я краем глаза увидел, что в долине спелая кукуруза ожидает жатвы.

Знаю, почему никогда не напишу о молитве в дневнике, – потому что все, что вы пишете, даже в дневнике, может прочесть кто-то другой. Когда я молюсь, я говорю о том, что со мной происходит в первом лице. И того, что со мной происходит, никто не знает.

В новициате громко читают Псалмы в праздник св. Матфея.

Любовь водит меня по дому. Делаю два шага по земле и четыре – по воздуху. Это любовь. И утешение. Впрочем, мне нет дела до утешения. Я его не ищу. Я люблю Бога. И любовь носит меня по дому. Не хочу ничего, кроме любви. Колокольный звон словно переворачивает меня изнутри, пробуждая эту тайную, скрытую любовь глубоко внутри и вокруг меня, но лучше я о ней умолчу. У меня нет ни времени, ни сил говорить об этом. Есть время только для вечности, то есть для любви. Одной только любви. Может быть, св. Тереза пожелала бы все это пресечь, но любовь моя чиста, я не привязан к ней, и эта любовь тихо бьется в глубине моего сердца. Любовь носит меня по монастырю, бьет в меня, как в гонг, любовь – единственное, что дает мне возможность действовать.

Так я шел среди яблонь вчера утром под синим небом. Быки в загоне урчали, словно старцы, и мне показалось, что помощник настоятеля запел себе под нос, – не потому, что он старый, а потому что он работал поблизости, скрытый в древесной листве.

Любовь, почему ты не оставляешь меня в покое? – этот риторический вопрос означает: ради всего святого, не делай этого.

Так продолжалось целую неделю. В хоре чем меньше я думал о пении, тем больше мной овладевала любовь. То же относится к бедности: чем мы беднее, тем больше в нас любви. В этом доме нужно все время сотрудничать с любовью: вначале любовь будет

задавать быстрый темп, и если вы не поспеваете, то вы проиграли. Но для любви любая скорость слишком мала, а для вас любая скорость слишком велика, если вы только позволите любви тащить вас за собой, – после этого вам придется парить. Но нас тянет сбежать и пойти гулять.

Я хочу быть бедным; хочу быть отшельником, после причастия мне было тяжело: крутился, как белка в колесе. *Arui tamquam testa virtus mea*⁴⁴. Я истомлен желанием и могу думать только об одном – оставаться в огне, сжигающем меня.

Рано или поздно мир должен сгореть вместе со всем, что в нем есть, – книгами, монастырями, борделями, Фра Анжелико и рекламой сигарет Lucky Strike, которые я не видел много лет; их нет в Луисвилле. Рано или поздно все пожрет огонь, и никого не останется, потому что к тому времени последний человек во вселенной сделает бомбу, способную уничтожить вселенную, и, не устояв перед искушением, сбросит ее и разом покончит со всем.

А я тут сижу и веду дневник!

Но Любовь будет смеяться при конце света, потому что Любовь – дверь в Вечность. Тот, кто любит, играет на пороге Вечности, и прежде, чем что-то случится, Любовь перетащит его за порог и закроет за ним дверь. Его не смутит то, что мир охвачен огнем, потому что он не будет знать ничего, кроме Любви. <...>

Рано или поздно мир должен сгореть вместе с «Семиярусной горой» и «Образами Апокалипсиса». Я не раз думал о том, что в последний день буду одним из десяти самых униженных грешников в истории мира, но приму это с радостью и любовью и полечу, как стрела, чтобы занять последнее место в последнем ряду, где последние будут первыми. Может быть, если за меня будут молиться св. Франциск, св. Хуан де ла Крус и св. Мария Магдалина, я перестану важничать и стану последним и малейшим из всех, но не из уязвленного самолюбия, как сегодня утром среди солистов-певчих, которые скороговоркой пели: «Был человек в земле Уц, имя его Иов».

44 Сила моя иссохла, как черепок (Пс 21:16).

Но мы, живущие, благословляем Господа любовью, одной любовью – в затворе и в хоре, в лесах и на холмах, меняющих свои уборы вместе с временем года, и под шпилем собора, куда забрался брат Процессус, который под надзором ангела-хранителя покрасил крест в желтый цвет. (Он перевернул ведро с краской, и оно болталось на веревке, и краска забрызгала нашу Псалтырь, камни и кладбищенские кусты, где я сегодня видел сокола).

Мои жалобы на мир в «Семиярусной горе» и в некоторых стихах – проявление слабости. Не то, чтобы не на что было жаловаться, но моя реакция слишком естественная. И не очень чистая. Возможно, мир, о котором я так раздраженно писал, – лишь плод моего воображения. В эту психологическую игру я играю с десяти лет. Впрочем, в мире, действительно, много отвратительного.

Вчера пошел в лес. За холмами, на западе поднималась стена черного неба, вдали раздавались раскаты грома. Было очень жарко и влажно, но оттуда, где бушевала гроза, уже повеял приятный ветер. <...>

Сначала я остановился под дубом на вершине холма и сидел, озирая широкую долину и бесконечные леса, которые тянутся вдоль горизонта в сторону холма Рохан.

Ветер пригибал к земле бурую траву, шевелил кроны зеленых деревьев, а я глядел на темную громаду леса за винокурней, на холмы к югу от нас и сознавал, что с людьми чувствую себя одиноким, а когда я один, то уже не одинок.

С холма открывается прекрасный вид на Гефсиманию. Вписанное в пейзаж, аббатство обретает новый смысл. Мы не понимаем нашего окружения; очень важно знать, в какой уголок земли тебя поместили. Монастырь стоит на отшибе. В смысле географии тут не на что жаловаться. В километре от него есть пара домишек, за ними – леса, пастбища, долины, кукурузные поля и бесконечные холмы.

В райском саду было тихо. Я сидел на высоком берегу под молодыми соснами и глядел на лощину. У моих ног вился высохший

ручей с чистыми озерцами, блестящими, как стекло, над сланцевым дном, и сланец был белым и зернистым, как галета. Внизу в долине раздавались чудесные трели. На дереве полыхнула золотисто-оранжевая иволга. Иволги боязливы и в аббатство не прилетают. Где-то посвистывала овсянка. Слаще всех пели две неведомые птицы, напоминавшие соловьев, и эхо их трелей разносилось по всему лесу. Никогда прежде не слышал их. Из-за эха место казалось нездешним, замкнутым в себе и еще больше напоминало Эдем.

Я сижу в окружении пчел. Они блаженствуют и тихо трудятся в нежных белых сорняках. Я пошел к восточному флигелю, где не так прохладно, как мне думалось, и сижу на насыпи, откуда открывается вид на ульи и пруд, где когда-то были утки, и холм вдаль. Большая шаткая лестница, с которой я однажды чуть не упал, когда мыл церковь, стоит у вишневого дерева, а ветви маленькой сливы передо мной, у дороги, сгибаются под тяжестью голубых слив.

В помещении капитула каждый вечер перед повечерием читают «Семена созерцания» по две странички в день. Они начали, когда я был в затворе перед рукоположением. Не знаю, как к этому отнеслись в доме, – кажется, благосклонно. Отец Макарий сказал мне: «Тем, кто считают себя интеллектуалами, нравится». Когда читали резко негативные, острые и неясные отрывки, пару раз все послушники негодовали.

Я рад, что книга написана и ее читают. Я достаточно сказал о темной ночи и «опытном постижении Бога во тьме», чтобы теперь умолкнуть и перейти к чему-то другому. Иначе это станет механическим повторением одного и того же. Но если бы книгу не читали вслух, я бы забыл, сколько раз я говорил об этих вещах, и продолжал бы повторять их, как нечто новое. <...>

Сегодня утром под синим, как кобальт, небом, когда внезапно кончилось лето, начал читать Книгу Иова. В тени кедров прохлад-

но – долго не просидишь. Вдали видны четкие очертания леса, освещенного солнцем, крик ворон прорезывает воздух, в котором уже не слышен стрекот цикад.

Иов меня глубоко волнует. В этом году я ощущаю горечь и остроту этой книги сильнее, чем прежде.

Понимаю, что мои стихи о страданиях мира далеки от совершенства: они не разрешают противоречий, а лишь маскируют их. Наверное, стремление написать настоящее стихотворение о страдании и грехе – очередное искушение, потому что я не могу в этом разобраться.

Иногда я чувствую, что хотел бы перестать писать просто из духа противоречия. Или, во всяком случае, печататься, потому что совсем не писать невозможно. Наверное, я буду писать даже на смертном одре и возьму с собой асбестовую бумагу, чтобы писать в чистилище. Надеюсь, Царица Небесная каким-нибудь чудом устроит так, чтобы мои грехи были прощены, и мне удалось избежать чистилища.

И все же мне кажется, что писание – одно из условий моего духовного роста. Наверное, чтобы стать святым, – а ничего иного я не желаю, я должен писать книги в траппистском монастыре. Если мне суждено стать святым, я должен быть не только монахом, как все затворники, которые стремятся к святости, но и описать свой опыт. Кажется, куда как просто, на самом деле, не легкое призвание.

Стремиться к совершенству в своем монашеском призвании, оставаться собой и писать об этом, говорить о своей жизни просто и честно, ничего не утаивая. Это очень трудно, потому что я весь опутан иллюзиями и привязанностями. И это тоже нужно описать. Но без преувеличений, повторов, бессмысленных нажимов. Без показного раскаяния и стенаний перед людьми, – лишь перед Тобой, Боже, видящим глубины моего неразумия. Быть искренним, но не занудным. Своего рода распятие. Не слишком драматичное или болезненное. Оно требует такой честности, которая выше моих сил. Только Дух Святой может дать ее.

Все это может привести к полной и святой прозрачности. Жизнь, молитва и писание книг при свете Духа. Нужно совсем забыть о себе, став общественным достоянием, как Иисус, который принадлежит всем в Евхаристии. Возможно, это важная часть моего священства – проживание моей литургии: стать простым, как облатка в руках каждого. Возможно, это мой путь к одиночеству. Один из самых странных путей, но это путь Слова Божьего.

Только этот путь учит меня, что ничто из стоящего, ценного во мне, не может принадлежать другим!

Лето сменилось осенью, и сегодня у нас начался пост. Снова прохладно, листья платанов постепенно желтеют и темнеют. Мы принесли наши матрасы и одеяла из dormitorio и расстелили их под ярким сентябрьским солнцем. Я все время думаю о св. Франциске на горе Алверния.

В новициате кто-то играл на фисгармонии. Наши псалмы звучат очень печально и странно в сопровождении фисгармонии: жалобно, сентиментально и тонко, словно они пронизаны тоской по небу из книг по медитации. Они напомнили мне о той ночи, когда три года назад умер отец Альберих. Я смотрел на тело посреди ночи, а потом вернулся в dormitorio и не мог уснуть, даже в течение двух часов, пока остальные были в церкви на ночной службе. Наконец они спели утреннюю молитву и хвалебные псалмы по усопшему отцу Альбериху. До меня доносилась музыка органных труб из этого огромного, пыльного шкафа, полного приглушенных аккордов. Пронзительность этой музыки очень трогает. Казалось, она подводит итог долгой прожитой жизни. Бедный маленький седой отец Альберих, писавший историю ордена на обрывках бумаги в лазарете! В этих странных гармониях можно расслышать облегчение, тайну, нежданную радость встречи с Богом. Звуки фисгармонии, звучавшие утром в новициате, перекликаются с последними днями его жизни, и я чувствую, как мое сердце наполняет печальная и сдержанная трезвость, словно я – один из восьми выживших в потоке людей, которые смотрели на открывшийся их взору мир с горы Арарат!

Во время грозы я вновь с пронзительной остротой понял, что не могу владеть ничем тварным, не могу его касаться, не могу им проникнуться. Не стремлюсь к нему, не нахожу в нем успокоения. Мы, христиане, знаем, что так и должно быть, но чисто теоретически. Или скорее говорим, что в это верим. На самом деле, мы должны открывать это снова и снова. Должны познавать эту истину все сильнее и сильнее. В особо торжественных случаях мы перестаем гнаться за живыми существами, а потом снова возвращаемся к ним и живем так, словно имеем постоянный град в этом мире...

Но творения остаются неприкосновенными. Если Бог хочет, чтобы мы немного пострадали, Он дает нам понять, насколько они неприкосновенны. Если мы пытаемся овладеть ими, все сладостное в них превращается в горечь, все прекрасное становится безобразным. Мы пресыщаемся всем, что любим. При этом потребность любить что-то или кого-то многократно возрастает. А Бог – единственный, кого можно любить ради Него самого, – остается невидимым, непостижимым и неосязаемым более всего остального.

Цветы и деревья, холмы и ручьи, поля, стада и дикие птицы, книги, стихи и люди, – я невыразимо одинок среди вас. Безотчетная потребность, живущая в тайниках моей воли, пытается увести мое глубинное «я» от Бога и направить его к вам. Я пытаюсь коснуться вас огнем, горящим в моем сердце, и не могу дотронуться до вас, не осквернив и себя, и вас, и теряюсь, одинокий и беспомощный, окруженный недоступной красотой.

Но эта печаль рождает во мне невыразимое благоговение перед святостью сотворенных вещей, ибо они чисты и совершенны, принадлежат Богу и отражают Его красоту. Он отражается во всем, как солнечный свет в чистой воде: но если я попытаюсь выпить этот свет, я лишь поколеблю отражение.

Поэтому я живу одиноко и целомудренно среди святой красоты творения, зная, что ничего из того, что я могу увидеть, услышать или коснуться, не будет мне принадлежать, стыдясь этой нелепой потребности отдавать себя чему-то одному или всему сразу. Глупая, безнадежная страсть к земной красоте снедает мое

сердце. Недостойное желание, от которого я не могу избавиться. Оно живет в сердцах всех людей, и мы должны вынести его, терпеть его до самой смерти и взойти на небо, где нам будет принадлежать все вместе с высшим источником всего.

Недельный священник обладает тем преимуществом, что после Вечерни весь Скрипторий в его распоряжении. Остальные священники служат обедню, а послушники причащаются. Я слушаю тиканье часов. Внизу перестал гудеть холодильник. В этой комнате пребывает Бог. Так явно, что мне даже трудно читать или писать. Но все же я займусь Книгой Исаяи. Это Твое Слово, Господи, и пусть Твой огонь разгорится во мне, и я найду Тебя в Твоем прекрасном огне. Здесь тихо, Твоя луна сверкает над нашими холмами. Когда все звуки смолкнут, лунный свет прольется в мою широко распахнутую душу. *Adolezeo peno y tuero*⁴⁵.

Шел из амбара под теплыми солнечными лучами по грязной дороге между садом и огородом с «Духовной песнью» под мышкой и читал чудесные стихи из нее! Я нашел прекрасный уголок на чердаке амбара, где можно читать и молиться; там когда-то жили кролики. В это помещение под самой крышей ведут разные лестницы. Там сложены печные трубы, старые ведра и много коробочек, в которые послушники собирали ягоды в начале лета. Там есть стул и прекрасное квадратное окно, выходящее на юг, из него видна долина, сад, поле св. Иосифа, вдаль – гряда холмов. Это самое тихое и укромное место во всем монастыре (хотя и не самое теплое). Впрочем, вчера там было тепло – солнце глядело в окно: *Vacio, hambriento, solo, llagado, y doliente de amor, suspenso en el aire*⁴⁶. Всякая деятельность меня изматывает, но когда я остаюсь один, в тишине на меня нисходит глубокий мир, присутствие духа и блаженство.

В записных книжках Рильке звучит такая сила, что я невольно спрашиваю себя: почему в монастырях никто не пишет так, как он. Это не значит, что в монастырях не сочиняют хороших

45 Св. Хуан де ла Крус. «Однако я страдаю и умираю». (исп.)

46 Св. Хуан де ла Крус. Опустошенный, голодный, одинокий, израненный, страждущий от любви, потрясенный. (исп.)

и даже более благостных книг. Но монахи не умеют так хорошо писать, словно профессиональная духовность заслоняет от нас обнаженную реальность нашего внутреннего мира. Это общий недостаток монахов – раствориться в коллективной личности и позволить кроить себя по шаблону. Шаблон, однако, не избавляет от всего лишнего или даже неприятного, что в нас есть. Мы не спешим избавиться от своих причуд и эгоизма, которые перестали быть интересными и превратились в машинальные, пошлые привычки.

Я виноват в том, что сам когда-то обличал. Я – созерцатель и валюсь с ног от переутомления. По-моему, это грех и наказание за грех, но теперь я должен обратить его во благо и благодаря нему стать святым.

Преподавание меня изматывает. Как Езекия, я спешу показать все мои богатства вавилонянам. Конечно, послушники и молодые монахи не вавилоняне, но по отношению ко мне и моему богатству могут играть эту роль. И все же, что я могу им предъявить и чем могу с ними поделиться? Нам нечего передать людям. Я полностью выкладываюсь на занятиях, а они внимают кому-то другому, слушают истории, которые я никогда им не рассказывал. Они получили напутствие, о котором я и не помышлял. Пока я говорю, они сидят и воображают, будто им нравятся мои речи, и строят собственные мифы на основании обрывочных слов, которые я изрекаю. Меня поражают их построения. Удивительно даже то, что я вообще могу что-то сказать, что, кроме Бога, от меня что-то переходит к другим душам.

Самое недостойное – думать, что эти старания действительно имеют большое значение. На днях, когда освящали новый алтарь, я почувствовал, как освобождаюсь от иллюзий. Я стоял и сидел с закрытыми глазами и недоумевал, почему я так много читаю и пишу и так переживаю то, что лишь слегка касается моей жизни. Я пришел сюда восемь лет назад и уже тогда лучше знал, что мне нужно. Но за восемь лет я подчинился другому закону, действующему в моих членах, и теперь совершенно измотан деятельно-

стью, изнуряю себя проповедью о необходимости покоя и отдыха. *In omnibus requiem quaesivi...*⁴⁷

1 мая 1949 День св. Филиппа и Иакова. Реколлеция

Я все лучше понимаю, что творится во мне, когда отрекаюсь от собственных представлений о пении, внутренней жизни, одиночестве, призвании цистерцианца, и т.д. Изо дня в день я убиваю Исаака – прекрасную мечту о безмолвной, одинокой, размеренной жизни, проходящей в созерцании и монашеском подвиге, куда не вторгается ни мир, ни известность, ни бестселлеры, где есть только Бог и эта уютная, древняя картузианская келья. Я должен совершить слепой акт веры, чтобы Господь и Богоматерь повели меня «путем Креста» к чему-то лучшему, что я, возможно, никогда не увижу на земле.

22 декабря 1949

Чтобы принадлежать Богу, я должен принадлежать себе. Я должен быть один, по крайней мере, внутренне. То есть нужно снова и снова давать все те же обеты. Я не могу принадлежать людям. Ничто во мне не принадлежит никому, кроме Бога. Полное одиночество воображения, памяти, воли. Люблю всех равной, бесстрастной, чистой любовью. Простой и свободной, как небо, потому что люблю всех, и никто мной не обладает, не держит, не связывает. Никакой избирательности. Чтобы никто меня не помнил и не нуждался во мне, меня никто не должен знать. Им нужен Томас Мертон? Он умер. Отец Людовик тоже мертв. Сейчас мое имя – небо, столбы ограды, кедр. Не буду даже размышлять о том, кто я такой, и не скажу, что это никого не касается, потому что не хочу быть грубым.

Быть ничем не обремененным – вот суть и смысл моей жизни. Ветер владеет полями, где я гуляю, а я ничем не владею и ничто не владеет мною. Я даже не буду забыт, потому что никто не узнает обо мне. И в этом я черпаю большую уверенность. Сегодня утром благодаря этой свободе, я совсем по-другому переживал мессу... <...>

⁴⁷ Во всем искал покой... (лат.)

Когда я вновь обретаю внутреннее одиночество, мне трудно молиться в хоре. Но во вторник во время вечерни 54-й псалом вновь наполнился для меня огромным смыслом. Меня охватило чувство, будто я пою то, что сам написал. Он – мой в большей степени, чем мои собственные стихи:

Cor meum conturbatum est in me, et formido mortis cecidit super me.

Timor et tremor venerunt super me, et contexerunt me tenebrae:
Et dixi: quis dabit mihi pennas sicut columbae et volabo,
et requiescam?

Ecce, elongavi fugiens, et mansi in solitudine,
Expectabo eum, qui salvum me fecit a pusillanimitate spiritus,
et tempestate⁴⁸.

Страх гонит меня в уединение. Любовь впрыснула капли ужаса в мои жилы, и кровь стынет в них; мне дурно от страха, ибо сердце и воображение уводят меня от Бога к собственным идолам. Нечестие мое доводит меня до обморока, а борьба между моей природой и моим Богом превращает меня в бесформенную массу. Я изнемогаю от страха. Вчера, раздавая причастие братьям, я подумал, что сейчас упаду вместе с дароносицей. А ночью проснулся, полтора часа лежал без сна, испытывая то, о чем говорится в последней строчке псалма. Эти пять строк лучше рассказывают о моей жизни, чем все, написанное мною, и это придает мне уверенности во время литургии. Вот в чем секрет псалмов. В них скрыта наша личность, наше я. Мы узнаем в них себя и находим Бога. В этих отрывках Он не только открыл Себя нам, но и нас – Ему. Mittit crystallum suum sicut buccellas⁴⁹. <...>

Сегодня после обеда я пришел в мансарду садового домика. Взобрался по лестнице и, огибая мотыги и лопаты, старые печные

48 Сердце мое трепещет во мне. И смертные ужасы напали на меня; и страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. (Пс 54:1–9). (лат.)

49 Бросает град свой кусками, перед морозом Его кто устоит (Пс 147:17). (лат.)

трубы и сломанные коробки для ягод, подошел к стулу, стоящему у окна. На стуле лежит мешок, испачканный краской или креозотом, или кровью забитого зверя. Я открыл окошко, и из него выпала рама; осколки стекла все еще лежат на красной крыше сарая.

День был чудесный. Небо затянули облака, и высокие столбы солнечного света расходились веером над голыми холмами.

Внезапно меня охватило сильное волнение. Стаи скворцов рассыпались по пастбищу. Над лесом пролетел орел. Испуганные вороны парили высоко в небе, а еще выше кружили сарычи, наблюдая за всем издали. Скворцы сидели на деревьях и пели, сверкая на солнце. Орел метнулся к дереву, полному скворцов, и стая птиц взлетела, чтобы увернуться от хищника. Потом он улетел, а они опустились на землю. Минут пять они ходили по полю и пели. Потом словно молния сверкнула в воздухе. Птицы в панике раскрыли крылья, стали подниматься с земли, и в какую-то долю секунды ястреб с крыши пикировал в гущу скворцов. Прежде, чем они успели взлететь в воздух, он вонзил когти в одну из птиц, и произошла схватка.

Страшное и вместе с тем прекрасное зрелище: словно стрела молниеносно сразила замешкавшую птицу.

Потом все деревья и поля опустели. Не знаю, куда улетели скворцы, может быть, во Флориду. За лесом еще были видны вороны. Их гортанные крики уже ничего не предвещали. Стервятники, любители мертвечины, кружили над землей, ища чем бы поживиться. Добыча досталась ястребу. Он не улетел с нею, как тать, а восседал на поле, как царь с убитой птицей; рядом никого не было. Он выжидал.

Я попробовал молиться. Но ястреб пожирал птицу. Я размышлял об этом полете, когда он пулей бросился на птицу, словно выследил ее издали. На мгновение я позавидовал средневековым аристократам, имевшим соколов, вспомнил об арабах с их быстрыми скакунами, которые охотились в пустыне, и понял одну ужасную вещь: есть люди, которые любят войну. Святые и созерцатели должны изучать ястребов, которые отлично знают свое дело. Если бы я знал свое дело так, как они!

Не роднит ли меня с тобой, артист, мое восхищение? Нет ли чего-то общего между твоим полетом и моим сердцем, трепещущим в своем тайнике и готовым служить Христу, как ты, воин, служишь своей природе? А ведь любовь Божья стократ опасней! Я возвращаюсь в мансарду к лопатам и сломанному окну и поездам в долине, и молитве Господней.

Песнь Возлюбленного моего у потоков вод. Птицы распевают на своих хорах. Небеса Его очистили глаза мои, леса Его чище царского двorca. Но ни я, ни воздух не выдадим наших тайн.

Первое воскресенье Великого поста, как известно, великий праздник. Христос освятил пустыню, и в пустыне я это понял. Молодые леса готовятся к весне, повинуюсь ее приказам, но пока что это лишь чаянья. Кто суровей: февральское солнце или воздух? Почек еще нет. Так рано почки еще не угадываются и не предчувствуются. Но первозданная природа полна обещаний. Земля окутана простотой и силой. Все предвещает приход святой весны. Никогда еще я не беседовал так свободно и любовно с лесами, холмами, птицами, водой и небом. В этот великий день, понимая свое место в творении, они безмолвствовали в присутствии Возлюбленного. Лишь Его свет был очевиден и ярок. Свет и вода мне брат и сестра. Дерево и камень тоже. Каменные алтари. Нагое синее небо. Трактор, засевающий борозду, небольшой водопад. И средиземноморское уединение. Я думал об Италии после того, как Возлюбленный говорил со мной и исчез.

Я был в новом помещении келаря. Небольшой прелестный дом с венецианскими ставнями и двумя маленькими комнатами, обшитыми кедром, с неотразимым запахом. Там есть небольшой закуток для продавца сыра и средних размеров склад, а еще небольшой гараж, где стоит джип, и большое помещение, куда въезжают грузовики и разгружают сокровища Аравии и Офира.

Но самое большое удовольствие для меня – пробраться в мансарду садового домика с окном, выходящим в долину. В тишине любуюсь зеленой травой. Мучительное качание яблоневых веток

неотделимо от моей молитвы. Смотрю на сверкающую воду, у которой растут ивы, и слушаю сладкозвучные песни зверей и птиц, живущих в наших лесах и полях. Я так сильно люблю уединение, что когда иду по дороге к старому амбару, стоящему особняком, вдали от новых зданий, все мое тело переполняет блаженство и мир.

Рядом со мной – голубой вяз, вдали – голубые холмы: красная обнаженная глина, где я должен посадить тенистые деревья. Вот что я вижу, сидя на солнце в эти свободные полчаса между наставничеством и работой. Завтра Пепельная среда, а сегодня, пока я нежусь на солнце, большая синяя и красная рыба мелькнула во тьме моего пустого ума, в море, которое отверзается во мне, как только я закрываю глаза. Восхитительная тьма, восхитительное солнце, сияющее над миром, который уже кончился.

Не спрашиваю, пересадим ли мы молодые клены из леса сюда, на этот голый ровный клочок земли, где когда-то была конюшня. Не спрашиваю, как здесь все преобразилось. Сажу на бревне, искореженном тупым топором послушника, и не думаю о своих планах относительно этого места для молитвы. Они осуществляются в должное время. Вдали видны бирюзовые холмы. Бог присутствует в прозрачном мире, но Он слишком священен, чтобы поминать Его всуе, слишком свят, чтобы наблюдать за Ним, поэтому я сижу в тишине. <...>

27 января 1950

Сегодня, в миг испытания, я вновь обрел Иисуса, или возможно обрел его впервые. В монастыре всегда обретаешь Его впервые. Во всяком случае, я лучше, чем когда-либо, понял, насколько наша связь с Ним – за пределами воображения и чувств.

Его глаза – глаза Правды – обращены к моему сердцу. Там, куда падает Его взгляд, царит мир, ибо свет Лица Его, который есть Правда, рождает правду всюду, где он сияет. Глаза его всегда смотрят на нас, везде и повсюду. Благодать нисходит на нас с небес, лишь когда Он взирает на наши сердца.

Благодать взгляда Христова, взирающего на мое сердце, преобразила этот день, как чудо. Мне кажется, что я обрел свободу, которой никогда прежде не знал, а с этой свободой – воспоминание, которое не препятствует деятельности и не сдерживает ее. Я почувствовал Дух Божий на мне и после обеда, гуляя вдоль дороги за садом под синим, как кобальт, небом (где уже взошла луна), думал, что если бы я повернул голову, то увидел бы сонм ангелов в серебристых доспехах, летящих за мной по небу, которые, наконец, явились, чтобы очистить мир. Мне не нужно было подавлять эту фантазию, поскольку она не возбуждала чувств, а уносила меня по живому океану покоя. Весь мир и все небо наполнились чудесной музыкой, как часто бывало со мной в те дни. Сидя в мансарде садового домика и глядя на ручей, сверкающий под голыми ивами, и на далекие холмы, я, пожалуй, никогда не был так близок к Эдему и нашему праотцу Адаму. Наш Эдем – сердце Христово.

29 ноября 1951

Иоанн Креститель посылает Андрея к Иисусу, Андрей находит Петра, Петр обращается к Филиппу, а Филипп – к Нафанаилу, который утверждает, что не может быть ничего доброго из Назарета. Но Иисус говорит, что в его сомнениях нет лукавства. Он говорит Нафанаилу о смоковнице. Царство Божье входит в мир – «Царство Божие внутри вас». Ангелы восходят и нисходят в Церкви, Мистическом Телѣ Сына Человеческого. Прежде, чем начнется Адвент (по крайней мере, в этом году), Христос является нам. – Парусия. Он грядет. Он предстает нам в своих святых, даже прежде того, как Церковь может начать все с начала и найти Его в символах Ветхого Завета. Прежде, чем цикл начался, он уже кончился. Всенощная св. Андрея – прелюдия к Пятидесятнице, она включает в себя Пятидесятницу. Тело, которое должно ожить от дыхания Божьего, уже создается из праха земного.

Илия был подобен нам. Андрей, Петр, Иаков и Иоанн были такими же людьми, как мы. Как и они, мы приносим наши немощи ко Христу, чтобы Он прославился, преобразив нашу слабость. День за днем внешний человек ветшает и слабеет, а внутренний

человек, Человек Небесный, рождается и возрастает в премудрости и познании в глазах людей, которые не могут узнать Его. А мы не можем узнать себя в образе Христа, который рождается в нас, потому что у нас еще нет глаз, которыми можно Его увидеть. И все же мы предошущаем Его присутствие в тайне, которую он утаил от мудрых и разумных. Мы чувствуем на себе Его взгляд, пока сидим под смоковницей, и наши души мгновенно оживают от одного прикосновения Его невидимого перста. Эта вспышка огня – наше одиночество, однако оно связывает нас с нашими братьями. Этот огонь оживил Мистическое Тело после Пятидесятницы, и теперь каждый христианин – одновременно отшельник и целая Церковь, а мы все – члены друг другу. Нам остается признать тайну: Твое сердце – моя обитель, и единственный путь, которым я могу войти в эту пустыню, – взяв на себя Твое бремя и возложив на Тебя мое.

<...>

Что же такое моя новая пустыня? Ее зовут сострадание. Нет более страшной, более прекрасной, засушливой и плодоносной пустыни, чем сострадание. Это единственная пустыня, которая расцветет, как лилия. Она превратится в водоем, даст ростки, покроется цветами и будет ликовать от радости. В пустыне сострадания иссохшая земля превращается в источники вод, а нищие владеют всем. Ничто не может вместить обитателей моего одиночества, в котором я сам по себе, как облатка на престоле – пища для всех людей, принадлежащая всем и никому, ибо Бог со мной: Он покоится в моем сокрушенном сердце, проповедуя Евангелие бедным.

Вы думаете, у меня есть духовная жизнь? У меня ее нет. Есть нужда, молчание, бедность, одиночество, ибо я отказался от духовности, чтобы найти Бога, а Он громко проповедует в бездне моей нищеты:

Ибо я изолью воды на жаждущее
И потоки на иссохшее,
Излию дух мой на племя твое

И благословение мое на потомков твоих.
И будут расти между травой,
Как ивы при потоках вод

(Ис 44: 3–4).

Дети, которые будут у тебя после потери прежних,
Будут говорить вслух тебе:

«Тесно для меня место;

Уступи мне, чтобы я мог жить»

(Ис 49:20).

Я умираю от любви к тебе, сострадание, я беру тебя в жены.
Как Франциск сочетался узами брака с бедностью, я беру тебя в
жены, Царица отшельников и Матерь всех бедных.

The Intimate Merton

4 ИЮЛЯ 1952 НОЧНОЙ ДОЗОР*

«Сторож, сколько ночи⁵⁰» осталось?

Ночь, о Господи, это время свободы. Ты видел день и ночь, и
ночь была лучше. Начало всех вещей – в ночи, и ночью же я узнал
о том, что все они конечны.

Гефсиманская обитель, омывшись в крестильной реке ночи,
восстановила утраченную невинность. Прежде чем поглотить
все видимое, темнота наводит некоторое подобие порядка. Пора
в дозор – табельные часы закреплены на лямке, лямка перекину-
та через плечо. Этой ночью, в тишине четвертого июля, пришел
мой черед быть пожарным сторожем. Я буду сторожить дом, ко-
торому когда-нибудь придет конец.

Вот как это происходит:

До восьми вечера монахи распевают гимны Богоматери, по-
добно изгнанникам, в надежде на скорое счастье набившимся в
раскаленное чрево корабля, везущего их в страну рабства. В во-
семь ночной Ангелус отпирает церковь и выпускает их на свобо-

50 Ис 21:11.

ду. Тогда это священное чудовище – Монашеская Община – распадается на части, просачивается сквозь духоту крытых галерей, где желтые лампочки не привлекают мошкар, и рассеивается по всему монастырю.

В специальной коробке у подножия лестницы в лазарет лежат табельные часы, кеды, карманный фонарь и ключи от разных помещений.

Шум сзади, над головой и вокруг меня означает, что братья один за другим расходятся по своим кроватям. Некоторые останавливаются в галерее попить холодной воды из бумажных стаканчиков. Так мы боремся с жарой. Я беру тяжелые табельные часы и перебрасываю их на ляжку через плечо. Бесшумно ступая, подхожу снаружи к ближайшему окну, устраиваюсь в его желтом свете и негромко начинаю вычитывать второе субботнее повечерие. Дом постепенно затихает.

Замешкавшийся в прачечной брат со сменой сухого белья за плечами подходит к окну, выглядывает в темноту сада и, заметив меня, читающего псалмы с требником в руках, делает вид, что испугался.

Минут через десять-пятнадцать в крытых галереях уже не будет слышно эха шаркающих по лестницам шагов. (Опоздавшие должны снимать обувь у входа в dormitorio и в носках пробираться к своим кроватям, чтобы не разбудить спящих, – как будто кто-то может спать в такую жару.)

Восемь пятнадцать. Я сижу в темноте и слушаю людскую тишину. Постепенно я начинаю разбирать красноречие ночи, ночи сырых деревьев и лунного света, скользящего по склону церкви во влажной дымке спадающей жары. Миллионы неведомых существ от рая до ада оглашают ночной мир своим варварским красноречием. В то время как земля, подобно огромной влажной туше, отдыхает и остывает, дикая музыка набирает силу: гремит, стучит, трещит, звенит, покуда все вокруг не проникнется ее ровным безумием, никогда, однако, не переходящим грань, за которой начинается оргия, – вся эта живность невинна, чиста и чужда злу. Я упоминаю о зле только потому, что знаю, как жара и неисто-

вая музыка жизни могут сводить с ума не живущих в монастыре и толкать их на поступки, которые мир уже разучился оплакивать. Оттого некоторые и ведут себя так, словно и ночь, и лес, и жара, и животные несут в себе дурную заразу, в то время как на самом деле жара праведна, животные – чада Божьи, и ночь создана не для того, чтобы укрывать грех, а чтобы раскрывать бесконечные пространства для благодати и отпускать наши души играть среди звезд.

Пока я задаю вопросы, на которые Ты не отвечаешь, Ты задаешь мне вопрос, который так прост, что я не могу на него ответить. Он так прост, что я и понять его не умею..

Этой ночью, и каждой ночью – один и тот же вопрос.

Крутые полые ступени, издающие особенно живой звук, ведут в часовню новициата. Пусто, окна плотно затворены, нагретый воздух неподвижен. Здесь – только Ты и жар утраченного дня.

Сюда я приходил зимой в единственный дневной перерыв, когда нам разрешалось делать что угодно, – отяжелевший от недосыпа и картошки послушник – опускался на колени и стоял, сколько хватало времени. Ничего особенного не делал, просто стоял, но это-то мне и нравилось.

Здесь мы воскресными утрами репетировали процессию Крестного Пути, толпясь и натывая друг на друга среди скамеек, и здесь же в летние дни, отведенные для реколлекции, долгими послеполуденными часами простаивали на коленях – пот струился по ребрам, и свечи горели вокруг скинии, и сквозь портьеры закутанная дароносица поглядывала на нас с застенчивым любопытством.

Но сейчас мне, стоящему в ночи на этом же месте с огромными табельными часами, тикающими на правом боку, с фонариком в руках и кедами на ногах, все прошедшее представляется призрачным. Словно его и не было. Вещи, которые я полагал столь важными – сколько усилий они мне стоили! – оказались несущественными. А то, о чем я никогда и не думал, чего не мог бы ни определить, ни предположить, – как раз имело значение.

(Раньше тут был один человек – летом он всегда в одно и то же время появлялся на проселочной дороге, ранним утром, как раз когда послушники возносили благодарственные молитвы после причастия: шел и распевал свою личную песенку, каждый день одну и ту же. Песенку, какую и можно услышать в разгар деревенской жары, среди округлых кентуккских холмов.)

Но что именно имело значение – в этой темноте я не могу сказать наверняка. Что, возможно, составляет часть Твоего вопроса, на который нет ответа!

Только помню июньский зной над бобовыми полями в мое первое монастырское лето и такое же ощущение таинственного, неожиданного смысла, поразившее меня после похорон отца Альбериха.

После новициата я возвращаюсь в маленькую галерею и скоро оказываюсь у самого прохладного поста: в монашеской умывальне, около входа в гончарную мастерскую. Через широко раскрытые окна из леса врываются сюда потоки свежего воздуха.

Тут особый город с особыми ассоциациями. Гончарня – нечто сравнительно новое. За этой дверью (где одна печь для обжига сгорела и теперь взамен куплена новая) маленький отец Иоанн Божий сделал хорошее Распятие, всего неделю назад. Он один из моих схоластиков. И теперь я думаю о глиняном Христе, вышедшем из его сердца. О красоте, простоте и пафосе, которые дремали там, дожидаясь, когда можно будет воплотиться в образ. Я думаю об этом бесхитростном человеке с непостижимой душой ребенка и о других моих учениках. Что зреет в их сердцах в ожидании рождения? Страдание? Обман? Героизм? Мир? Предательство? Святость? Смерть? Поражение? Слава?

Со всех сторон подступают вопросы, на которые я не могу ответить, потому что время ответов еще не пришло. Между Божьим безмолвием и безмолвием моей души стоит молчание вверенных мне душ. Погрузившись в эти три безмолвия, я понимаю, что вопросы, которыми я задаюсь относительно моих учеников, – быть может, всего лишь досужие догадки. И, весьма вероятно,

что самым необходимым и практически-полезным упражнением в самоотречении был бы отказ от всяких вопросов.

Самое поразительное в пожарном обходе то, что ты проходишь монастырь не только в длину и высоту, но и в глубину. Натыкаешься на странные пещеры монастырской истории, на осевшие с годами пласты, целые геологические страты – чувствуешь себя, как археолог, неожиданно раскопавший древнюю цивилизацию. Но ужаснее всего, что ты сам, оказывается, проживал во всех этих погребениях. За десять лет монастырь так изменился, словно здесь каждый год сменялось десять египетских династий. Их значения и смыслы накрепко замурованы в стенах, но под нажимом резиновых подошв из-под пола еще доносится их невнятное бормотание. Самый глубокий пласт залегает в катакомбах под южным крылом и церковной башней. Все другие уровни истории расположены между ними.

Церковь. Несмотря на тишину, она кажется полной жизни. Свет от единственной лампы ложится небольшим изменчивым пятном на евангельскую сторону алтаря, вокруг которого постоянно движутся тени. Темнота насыщена неясными звуками, на пустынных хорах что-то поскрипывает, невидимые доски подают таинственные сигналы.

В ризнице тишина звучит иначе. Я направляю свет фонаря на алтарь Святого Малахия и раки с мощами. На алтаре Богородицы Победительной выложено облачение для моей завтрашней мессы. Ключ щелкает в двери, и эхо разносится по всей церкви. Когда я впервые совершал ночной обход, я подумал, что она заполнена молящимися в темноте людьми. Но нет. Ночь в церкви насыщена невнятными шорохами, стены – шелестом, ропотом и шепотом, которые, через несколько часов после того, как завершились события дня, пробуждаются, стекаются к опустевшим местам и, скопившись там, быстро бормочут что-то нечленораздельное, словно спеша договорить недосказанное.

В темноте близость к Тебе слишком проста и осязаема, чтобы вызывать волнение. Ночью всем вещам свойственно вести непредусмотренную жизнь, но эта жизнь призрачная и неподлин-

ная. Призраки гуляющих по стенам церкви звуков только усиливают бесконечность Твоего молчания.

Здесь, в месте, где я принял обеты, где мои ладони миропомазали для Святой Мессы, где рукоположение скрепило печатью самую глубину моего существа, – любое слово и любая мысль только оскверняют тишину Твоей невыразимой любви.

Боже, в Своей подлинности Ты обращаешься ко мне как к близкому другу, Один посреди всей этой фантазмагии – стен, крыши, арок, смехотворно высокой и непрочной башни над головой.

Мой Господь, сегодня ночью весь мир кажется сделанным из бумаги. Самые крепкие вещи вот-вот сомнутся, скомкаются, порвутся и разлетятся по ветру. А что до этого монастыря, в который мы все так верим, – его, быть может, уже и вовсе не существует.

Боже мой, Боже, в ночи есть такой смысл, что дню и не снился. Всё на свете – спит оно или бодрствует – приходит в смятение, сознавая близость своего конца. Только человек устраивает для себя иллюминацию, уверенный, что она достаточно надежна, чтобы вечно освещать ночную тьму. Но пока мы ставим вопросы и принимаем решения, Бог сдувает их, как пылинки: сторож старательно строит теорию прочности, а в это время крыши наших домов рушатся, муравьи подкапываются под могучие башни, стены трещат, падают и самые святые здания сгорают дотла.

Время идти на колокольную башню. Время встречи с Тобой, Господи, – там, где ночь чудесна, крыша под ногами почти нематериальна, где хлам, разбросанный в звоннице, говорит о скором прибытии трех новых колоколов, где лес широко раскинулся под луной, а все живые существа пронзительно распевает о том, что лишь настоящее вечно, а всё, у чего есть прошлое и будущее, обречено исчезновению.

Сперва я должен обойти весь второй этаж. Затем подняться в dormitorio третьего этажа. А после этого, башня.

Крытая галерея. Тихие шаги, полная тьма. В зимнем саду братья-монахи разобрали палатку, в которой две зимы назад спали послушники и некоторые получили воспаление легких.

Вчера они навесили новую дверь в комнату отца аббата, пока он с домом Габриэлем ездил по нашим дочерним монастырям.

Я в коридоре, проходящем под старой гостиницей для паломников. В середине его на длинном столе разложены ножи, вилки, ложки, миски – здесь завтракают послушники и братья-миряне. Три раза в день они едят в коридоре. Вот уже два года в монастыре не находится места, где можно было бы их разместить.

Высокая светлая дверь в старое гостиничное крыло захлопывается за мной, и я на лестнице.

Я и забыл, что верхние этажи пусты. Тишина поражает меня. Когда я в прошлый раз был на пожарном обходе, тут посреди ночи стояла растянувшаяся по всему второму этажу очередь из полусотни паломников, вписывающих свои имена в гостиничный журнал. Автобус только что привез их из Нотр Дама. Сейчас здесь совершенно пусто. На стенах нет объявлений. Из холла исчезли книжные полки. Заметно сократилась популяция религиозных статуй. Все окна широко распахнуты. На прохладный линолеум падает лунный свет. Некоторые комнаты открыты, и видно, что они пусты, как и все остальные. Я ощущаю эту пустоту сквозь закрытые двери.

Хочется остановиться и постоять здесь хоть час, просто чтобы почувствовать разницу. Старая гостиница похожа на только что выздоровевшего больного. Вот оно, Гефсиманское аббатство, каким оно было, когда я сюда пришел, и о котором почти уже забыл. В эту тишину, в эту темноту и пустоту я вступил вместе с братом Мэтью одиннадцать лет назад, весной. Дом, стоящий особняком, построен так, чтобы тут позабыть обо всех городах и погрузиться в вечность. Но ничего обнадеживающего в его вновь обретенной невинности нет. Тишина звучит укором. Сама пустота – мой самый больной вопрос.

Если я сам нарушил молчание и принялся так трезвонить об этой пустоте, что она наполнилась людьми, то кто я такой, чтобы теперь прославлять тишину? Кто я такой, чтобы рекламировать пустоту? Кто я, чтобы делать замечания о слишком большом числе посетителей, паломников, послушников, туристов? Или человек нашего времени уподобился Мидасу – стоит только пре-

успеть в чем-то, как сразу все, к чему ни прикоснешь, наполняется людскими толпами?

Уж коли в наш век толпы я выбрал себе путь отшельника, не самый ли большой грех жаловаться на присутствие других людей у порога моего уединения? Разве я так слеп, чтобы не видеть, что уединение и есть их главная потребность? Но и они – если тысячами устремятся в пустыню, как смогут они пребывать там в одиночестве? Что они хотят там увидеть? А я сам кого пришел искать здесь, как не Тебя, Христос, – Тебя, имеющего сострадание к людским толпам?

И все-таки Твое сострадание выбирает того, на кого должна снизойти Твоя милость, и отличает его, и ставит отдельно от любого множества, даже если Ты бросаешь его в самую гущу толпы...

Упершись ногами в пол, который я натирал, когда готовился стать монахом, я задаю эти бесполезные вопросы. Вешаю на место ключ от двери, ведущей к продольным галереям, где я впервые услышал, как монахи распевают псалмы, и не жду ответа, потому что уже начинаю догадываться, что Ты никогда не отвечаешь, когда я этого жду.

Третий зал библиотеки называется у нас адом. Маленькие дощатые перегородки делят его на четыре закутка, куда свалены признанные негодными книги. На перегородках висят американские флаги и портреты дома Эдмонда Обрехта. Сквозь этот немыслимый лабиринт я пробираюсь во второй читальный зал, где раньше сидели ретританты, морщили брови и слушали проповеди. Проплывая мимо книжных полок, тикая табельными часами, помаргивая фонарными огоньками и позвякивая ключами от первого зала, я стараюсь не смотреть в угол с книгами о картузианцах, которые некогда завлекали меня своими песнями сирен. В первом читальном зале стоят столы схоластиков – здесь находится верхний скрипториум. Всюду по стенам – книги по богословию. Вон висят сломанные часы с кукушкой, которые отец Виллиброд каждое утро, прежде чем рывком распахнуть окна, настраивает с выражением принципиального несогласия на лице.

Наверное, самая длинная комната в Кентукки – dormitorio хоровых монахов. Долгие ряды отсеков, разделенных перегородками высотой чуть выше шести футов; мы развешиваем на них рубашки, рясы и наплечники, чтобы хоть как-то подсушить их на ночном воздухе. Вдоль стен между окнами втиснуты дополнительные выгородки, в каждой – по монаху на соломенном матрасе. Посреди зала горит тусклая лампочка. Его стены окутаны тенями. Тихо прохожу от отсека к отсеку. Я знаю, в каких из них храпят. Но сейчас, кажется, в этой странной обители никто не спит. Из всех сил стараюсь не шуметь, иду к дальней западной стене, где в углу под звонком стоит койка отца Калеба. Нахожу пост за органной дверью, пробиваю табельные часы и, мягко ступая, возвращаюсь вдоль противоположной стены dormitoria.

Между двумя выгородками прячется дверь, ведущая во флигель лазарета. Там уже храпят вовсю. За лазаретом – крутая лестница на третий этаж.

Прежде чем подняться по ней, еще одно задание. Маленькая квадратная часовня при лазарете, которая давала мне пристанище перед началом всех важных этапов моей монастырской жизни: принятием послушничества, пострижением, рукоположением. Всякий раз, когда я здесь, некое чувство – его не выразить словами – вздымается из самых глубин моего существа. Эта тишина поднимет меня на башню.

Между тем пробиваю часы на следующем посту – около зубо врачебного кабинета, где на следующей неделе мне вырвут еще один коренной зуб.

Теперь дела закончены. Я могу взойти на вершину города веры, оставив внизу его нынешнюю историю. Эта лестница началась еще до Гражданской войны. Не задерживаясь в освещенном синей лампочкой dormitorии братьев-монахов, я спешу мимо гардероба в коридор. Выглядываю в низкие окна: ага, я уже выше деревьев. В конце коридора вход на чердак и оттуда – на башню.

Висячий замок всегда ужасно скрипит. Наконец, дверь, закрепленная на петлях, которые при любом прикосновении раздража-

ются бранью, отворяется, и ночной ветер, горячий и порывистый, врывается с чердака, принося с собой запах стропил и старых, пыльных, затхлых вещей. Осторожнее на третьей ступеньке: не провалиться бы сквозь доски. Отсюда и выше здание постепенно утрачивает материальную основательность, однако, нужно все время быть начеку, иначе расшибешь голову о балки, на которых еще видны следы топорков, оставленные сто лет назад нашими французскими отцами...

Сейчас звенящая под ногами пустота составляет около двадцати метров до пола церкви. Я стою прямо над средокрестием. Если хорошенько пошарить, можно найти дырку, проделанную фотографами, заглянуть в пропасть и осветить внизу мое место в хорах.

По шаткой, извилистой лестнице взбираюсь на колокольню. Высоко над головой, среди мрачных инженерных конструкций, поддерживающих шпиль, потревоженная темнота в смятии хлопает крыльями. На расстоянии вытянутой руки постукивают старые башенные часы. Я направляю свет фонарика на эту загадку – что до сих пор заставляет их работать? – и пристально вглядываюсь в старинные колокола.

Так, шкаф с предохранителями я осмотрел. Заглянул в углы, где должна быть электропроводка. Удостоверился, что нигде нет огня – загорись он тут, башня мгновенно вспыхнет факелом и через двадцать минут пожар неминуемо охватит все аббатство...

Всем своим существом вдыхая продувающий колокольню ветер, я подхожу к приоткрытой двери, сквозь которую виднеются небеса, и легонько толкаю ее. Дверь настежь распаивается в бескрайнее море тьмы и молитвы. Таким ли будет он, час моей смерти? Отворишь ли Ты дверь в великий лес, поведешь ли меня в лунном свете по лестнице, поднимешь ли к звездам?

Взойдя выше вершин деревьев, я шагаю по светящемуся воздуху, а подо мной блещит длинная металлическая крыша, обращенная к лесу и холмам.

Из полей вокруг спящего аббатства поднимается влажная теплая дымка. Вся долина залита лунным светом; на юге можно

сосчитать холмы за водокачкой, на севере – перечислить деревья в роще. Внизу гигантский хор живых существ возносит свои рулады: жизнь поет в ручьях, трепещет в реках, полях, деревьях – миллионы и миллионы прыгающих, летающих и ползающих тварей. А наверху, высоко надо мной прохладное небо раскрывается навстречу студеному звездному просторам.

Я кладу табельные часы на выступ колокольни, сажусь по-турецки и, прислонившись к стене, начинаю молиться, лицом к лицу все с тем же вопросом, на который нет ответа.

Господи Боже этой великой ночи, видишь ли Ты этот лес? Слышишь ли шепот его одиночества? Проникаешь ли его тайну? Помнишь ли его укромные тропы? Видишь ли Ты, что моя душа оплывает, подобно воску?

*Clamabo per diem et non exaudies et nocte et non ad insipientiam mihi!*⁵¹

А место около речного притока Ты помнишь? А тот миг осенью на вершине Виноградного холма, когда поезд шел по долине? А лощину МакГинти и поросший редким лесом склон, что за домом Ханекампа? А лесной пожар? Знаешь ли, что стало с молодыми тополями, которые мы посадили весной? Ведешь ли наблюдение за долиной, где я помечаю деревья, предназначенные для сруб-ки?

Нет на свете зеленого листа, о которым бы Ты не заботился. Нет крика, не услышанного Тобой еще до того, как он исторгнется из горла. Нет подземных вод, не укрытых Тобой в глинистых слоях почвы. И всякий потаенный родник тоже спрятан Тобою. Нет такой лощины с одиноким домом, которая не была бы задумана Тобой для этого уединения. Нет человека в этих бескрайних лесах, не рожденного тобой для этих лесов.

В тишине больше успокоения, чем в ответе на вопрос. В настоящем присутствует вечность, вот она у меня в руке. Вечность – как огненное семя: его стремительно выпирающие корни сокрушают оковы, не дающие разверзнуться моему сердцу.

51 «Я вопию днем, – и Ты не внимлешь мне; ночью – и нет мне успокоения» (Пс 21:3). (лат)

Все временное в сговоре с вечностью. Тени состоят у Тебя на службе. Животные поют Тебе, пока не умрут. Прочные холмы опадают, как изношенные одежды. Все меняется, умирает, исчезает. Вопросы возникают, кажутся насущными и тоже исчезают без следа. В этот час я перестану их задавать, и тишина будет мне ответом. И тогда мир, сотворенный Твоей любовью и исказившийся от летнего зноя, тот мир, которому мой разум способен давать только ложные истолкования, не будет больше помехой нашим голосам.

Мысли, путешествующие вовне, приносят из окружающего мира сообщения о Тебе; но диалог с Тобой, если вести его через посредство мира, всегда оказывается разговором с моим собственным отражением в реке времен. Да и возможен ли диалог с Тобой? Разве только если Ты Сам выберешь гору, и покроешь ее густым облаком, и огнем высечешь слова в сознании Моисея.

Этот раскаленный плод грома и молнии, некогда явленный ему на каменных скрижалях, мы теперь носим в себе естественно и тихо, легче дыхания.

Ладонь раскрыта. Сердце немо. Душа, эта твердая жемчужина в пустом дупле моего мнимого могущества, скрепляющая мое физическое существо, однажды уступит и сдастся.

Я вижу звезды, но больше не притворяюсь, что знаю их. Я много раз ходил по этому лесу, но смею ли я сказать, что люблю его? Одно за другим я забуду имена отдельных вещей.

Тебя, спящего в моей груди, не встретить в словах, а только в прорастании жизни изнутри жизни и мудрости изнутри мудрости. Найти Тебя можно в причастии: Ты во мне и я в Тебе, Ты в них и они во мне – отрешение в отрешении, бесстрастие в бесстрастии, пустота внутри пустоты, свобода внутри свободы. Я один. Ты один. Отец и я – одно.

В раю слышится Божий голос:

«Что было ничтожным, стало драгоценным. Что сейчас драгоценно, никогда не было ничтожным. Я всегда знал, что ничтожное драгоценно, ибо для Меня нет ничего ничтожного.

Что было жестоким, стало милосердным. Что сейчас милосердно, жестоким не бывало. Я всегда покрывал Иону Моим ми-

лосердием, ибо Мне неведома жестокость. Иона, дитя мое, видел ли ты Меня? Милосердие внутри милосердия внутри милосердия. Я простил мирозданье во веки веков, ибо Мне неведом грех.

Что было нищим, стало несметным. Что сейчас несметно, никогда не было нищим. Я всегда знал, что бедность неиссякаема и никогда не любил богатства. Тюрьма внутри тюрьмы внутри тюрьмы. Не копи для себя восторгов на этой земле, ибо пространство разлагается, а время лукавит, и минуты не столько дают, сколько крадут. Иона, сын мой, не вверяй себя времени, дабы эта река не унесла тебя.

Что было слабым, стало крепким. Я люблю самое хрупкое. Я прирзрел то, что было ничем. Я прикоснулся к невещественному, и где его нет, там Я пребываю».

Восходит великое солнце, капли росы сапфирами сверкают в траве, и листья деревьев трепещут вслед бесшумно улетающему голубю.

Знамение Ионы

1958-1964 гг.

18 октября 1958 Праздник св. Луки

От Пастернака пришло два письма – мое письмо и «Прометей» дошли до него и, видимо, довольно легко. Он пишет, что ему особенно понравились два раздела: IV и VII, а в последнем отмечает «прекрасное личное осязание Христовой мудрости». Я был очень рад. Напишу ему еще. Он продолжает настаивать на том, что его ранние произведения лишены всякой ценности. Очевидно, он захвачен романом «Доктор Живаго», который не называет полностью, только «Д-р Ж» или «книга, напечатанная в Pantheon».

Говоря об этом с братом Лаврентием, я отметил одно странное и чудесное обстоятельство: как просто и естественно складывается общение между монахом, живущим в траппистском монастыре строгого устава, и опальным поэтом, находящимся

за железным занавесом. Пастернак мне ближе, чем жители Луисвилля или Бардстауна и даже монастырская братия. У меня с ним больше общего.

И все это происходит в то время, когда наши страны, резко враждебные друг к другу, не могут договориться и тратят миллионы на то, чтобы достичь Луны!!

Простой и человечный диалог с Пастернаком и еще несколькими людьми, как он, для меня дороже сотен проповедей и выступлений по радио. Для меня в нем – Царство Божье, которое по-прежнему так явно и очевидно «внутри нас».

17 сентября 1960

Карл Барт видел сон о Моцарте. (Моцарт был католиком, и Барт уязвлен тем, что Моцарт не любил протестантов, говорил, что «они чересчур рассудочны», что они не понимают значения слов: *Agnus Dei qui tollit peccata mundi*⁵². Барту приснилось, что он должен был «экзаменовать» Моцарта по Догматическому богословию. Он изо всех сил старался быть благожелательным и в своих вопросах ссылался на моцартовские «Мессы». Но Моцарт не ответил ни на один вопрос.

Меня подмывает написать Барту письмо об этом трогательном сне, который, несомненно, как-то связан с его собственным спасением. Он говорит, что вот уже много лет каждое утро играет Моцарта, прежде чем приступить к работе над догматикой. (Только представьте: он ежедневно изучает догматику!)

Возможно, что его Моцарт – то лучшее, сокровенное, софийное в нем, что может постичь музыку сфер и спастись любовью (Эросом!) Другая часть его личности – богослов – по-видимому, больше занят суровой, рассудочной агапе. Любовью, которой у нас нет, которая есть только у Бога.

Помню свой собственный сон о «протестантах». (Возможно, они олицетворяют агрессивную сторону моей личности).

Может быть, Барт хочет спастись с помощью живущего в нем Моцарта?

52 Агнец Божий, вземлющий грехи мира (*lam.*).



Гефсимания, возле скита св. Анны

11 декабря 1961

Вчера, в день реколлегии, я вновь понял, что мне, прежде всего, нужно глубочайшее и полнейшее смирение, особенно в

связи с моей миротворческой деятельностью. Смирение важнее рвения. Стать ничем и положиться на Бога. Иначе я начинаю бороться с миром его же оружием, и тогда мир непобедим. Ему даже не придется наносить ответный удар: я сам дойду до изнеможения, и моим глупым усилиям придет конец.

Искать силу в Боге, в особенности в Страстях Христовых.

7 ноября 1964

Читаю 6-ю главу Иезекииля. Она об идолопоклонстве израильского народа и о нашем собственном. Идолопоклонство – главный грех. Оно глубоко сокрыто в нас и порождает все прочие грехи, усыпляет нашу бдительность, рядясь в одежды истинного благочестия, целомудрия, честности, верности, совершенства. Даже христиане невольно впадают в него. Они часто ищут «кого-то», кто совсем не Бог, Которого нельзя превратить в идола, т.е. в объект.

МАЙ 1965 ДЕНЬ ОТШЕЛЬНИКА

В жару холмы кажутся голубыми. Лощина упирается в бурое пыльное поле. Слышно, как шумят машины, поют птицы, бьют часы. Облака высоки и огромны. По ним неизменно пролетает самолет – наверное, полный пассажиров из Майами. Кто эти люди? Не моя забота. Они там, наверху, за пределами моего мира, сидят в тесном салоне, который словно и не движется. Непостижимым образом они оторвались от земли во Флориде, ненадолго зависли в воздухе со своими бесконечными коктейлями и опустятся где-нибудь в Иллинойсе. Вырвались на время из привычного круговорота, чтобы поразмышлять!

Надо мной – другие миры. Пролетают самолеты, где о другом размышляют и другого напряженно ждут.

Я видел, как самолет с бомбой на борту низко летел надо мной, а я смотрел из леса прямо на закрытый отсек стальной птицы с высиженным наукой яйцом во чреве! Механическая утроба

плавно раскрылась! Все, во что я верю, чудо этой технологической матери. Но, как и все, я живу в тени крыльев апокалиптического херувима. Он изучает меня, как безликий объект. Наши номера опознают друг друга. Суждено ли им совпасть в благожелательном компьютерном уме? Меня это не касается, потому что я живу в лесу, как напоминание о том, что не хочу быть просто числом.

Мы и в самом деле выбираем свой жребий.

Во времена, когда много говорят о том, что нужно быть «самим собой», я оставляю за собой право забыть об этом. Вряд ли у меня получится быть кем-то еще. По-моему, стремясь во что бы то ни стало быть «собой», человек рискует превратиться в тень.

Не могу похвастаться, что я как-то особенно свободен, – ведь я живу в лесу. Меня обвиняют в том, что я живу здесь, как Генри Торо, а не в пустыне, как Иоанн Предтеча. Я не живу «как кто-то» или «не как кто-то». Все люди как-то устраивают свою жизнь. Так уж заведено. Мне же от природы и от рождения непременно нужна свобода.

Я живу среди деревьев и обречен бродить по лесу. Я – и заключенный, и беглец. Сам не знаю, как, родившись во Франции, я очутился в Кентукки. Долго думал, не пойти ли дальше, но ничего



Томас Мертон в Гефсиманском аббатстве.

Осень 1965 г.

не вышло. Теперь уже все равно. Есть ли у меня «день»? Провожу ли я «день» в каком-то «месте»? Деревьев тут много. И птиц. Это я знаю. Причем птиц знаю хорошо. Они расположились парочками вокруг моей хижины (около двадцати видов). Мы неплохо уживаемся, создаем экологическое равновесие. Наша гармония придает новые очертания идее «места».

Вороны же – из другой популяции. Они крикливы, напыщенны, как люди. Их тут не пара, а целая туча. Они дерутся, обижают птиц; все время воют.

В моем лесном убежище обитают и существа умные, здесь – живое равновесие душ, и поют не только птицы, но и певцы. Скажем, Вальехо, Рильке, Рене Шар, Монтале, Луис Зукофски, Унгаретти, Эдвин Муир, Сальваторо Квазимодо, кое-кто из греков. А ещё – сухой, едкий Никанор Парра. Чуань Цзы, наверное, чувствует себя как дома в этом тихом лесу, где ничего не нужно объяснять. Рядом с ним – надежная компания молчаливых Цзы и Фу – Кун Фу-цзы, Лао-цзы, Мэн-цзы, Ду Фу, Хун Нень, Чао Чу, рисунки японского монаха и художника Сэнгая, большой изящный свиток от Судзуки. Тут сирийский отшельник Филоксен и алжирский кинобит Камю. Тут слышны пронзительные речи Тертуллиана, сухой воспаленный голос Сартра, свободные диссонансы Уистена Одена, сладкозвучный Иоанн Солсберийский. В древнем лесу поют гневные птицы Исайя и Иеремия. И, конечно, раздаются женские голоса: Анджела из Фолиньо, Фланнери О'Коннор, Тереза Авильская, Юлиана Норвичская; наконец, проникновенная Раиса Маритен. Хорошо, когда можно выбрать, что слушать в этом лесу. Но и они решают сами, кто из них нарушит здешнюю тишину. Чего-чего, а голосов здесь хватает.

Отшельник живет тихо. Он неприметен, почти ничего не решает, ни о чем не хлопочет, не дает поручений. Вот и я не собираю посылок и не шлю их самому себе. Размеренная жизнь. Ни вопросов, ни ответов, ни проблем, ни решений. Проблемы начинаются там, у подножия горы. А решения – наверху, у водонапорной башни. Здесь же – только лисицы и лес. И нет нужды в темных очках. Чтобы ощущать себя «здесь», мне не нужно проти-

вопоставлять себя живущим «там». Мне нет никакого дела до тех, кто «там». Отшельник живет безмятежно.

Монастырь – место жаркое, накаленное императивами: «должен», «нужно», «следует». Братья живут высокими замыслами: «Все должно быть понятным». Но чем все понятней, тем больше работы впереди. Жизнь раскидывает ветви, и их все время нужно подрезать.

От усердного ухода они еще быстрее растут – один росток срежут, три новых вырастут. И на каждом – большой вопросительный знак. Люди снуют по монастырю с важными посланиями. Они хотят знать, все ли распоряжения дошли до адресатов. А может, кому-то уже поручили то, о чем я еще не знаю? Не могли бы они поделиться со мной? Пойму ли я, о чем речь? Не придется ли спорить? Не придется ли встать и, прочистив горло, произнести: «По-моему, св. Бенедикт говорил об этом...».

Св. Бенедикт понимал, что монастырская жизнь должна течь мирно. Сегодня же все только и делают, что накаляют обстановку. Чтобы остудить ее, переселяешься в скит, а все думают, что у тебя – особая миссия. Когда же обнаружится, что нет... Впрочем, это не моя забота.

У меня тут не скит, а дом. («Что это за скит, с которым я видел тебя вчера ночью?»⁵³) Ношу я брюки. Занят тем, что живу. Молюсь – как дышу. Кто сказал Дзен? Прополощите горло, если это вы. Когда увидите идущую мимо медитацию, стреляйте в нее. Кто сказал «любовь»? Любовь бывает в кино. Духовной жизнью живет тот, кто занят по горло, но понимает, что нужно быть духовным. Духовная жизнь это – гнетущее чувство вины. Здесь на холмах оживает Новый Завет. Ветер веет между деревьями, и вы им дышите. Хочу ли я быть понятным? Даже не думаю об этом. И не говорю, что настанет день, когда все услышат весть: «Ныне спасение...» Не мое дело.

53 Возможно, автор обыгрывает строчку из песни «Who was the lady I saw you last night» (Что за женщина, с которой я видел тебя вчера ночью?)

В четверть третьего ночи, в самую темную и тихую пору, я уже на ногах. Нездоровится, наверное. В первозданной глухой тьме меня обступают одиночество, лес и покой. Сетую на то, что нужно вставать. В темноте нащупываю лампу, зажигаю ее, и она озаряет икону. Островок света заполняют псалмы. Они, как растения, растут сами собой, молча, плавно. Их стебли держатся на одной только милости, точнее - великой милости. *Magna misericordia*. В зыбкой ночной тишине слово «милость» само срывается с губ, а с ним и другое: «Очисти беззаконие мое», «омой меня», «ибо беззаконие мое я знаю». *Ressavi*. Согрешил, Господи. Деловой мир с его войнами, политикой, культурой и всем прочим мало кого трогает. Даже священников.

Есть и другие слова: кровь, коварство, гнев. Путь зла, гнева, войны – кровавый, коварный.

Погруженная во мрак гряда холмов тянется к югу. За ними – кровь, коварство, тьма, гнев, смерть: Селма, Бирмингем, Миссиссипи. Чуть ближе – атомный город, откуда каждый день вывозят радиоактивное вещество и складывают рядом с золотом в подземном хранилище, на котором стоит эта страна.

«Сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб; языком своим льстят»⁵⁴.

Кровь, ложь, огонь, ненависть, открытый гроб, пагуба. Милость, великая милость.

Запели птицы. Светает. Через час-другой зашумят города, и людей ослепят гримасы производства и бизнеса.

- Почему Вы живете в лесу?
- Нужно же где-то жить.
- Вы чувствуете себя одиноким?
- Да, иногда.
- Вас раздражают люди?
- Нет.
- А монастырь?

54 Пс 5:10.

- Нет.
- Что Вы думаете о судьбах монашества?
- Ничего. Я вообще о нем не думаю.
- Правда ли, что Вы повредили спину, занимаясь йогой?
- Нет, не правда.
- Правда ли, что Вы тайком практикуете Дзен?
- Простите, я не понимаю по-английски.

Монахи, как известно, хранят целомудрие, отшельники – тем более. Я вовсе не против женщин. Разве нельзя любить Бога и женщину одновременно? Если Бог ревнует человека к жене, зачем тогда Он ее сотворил? Сейчас много говорят о женатом духовенстве. Это любопытно. О женатых отшельниках пока молчат. Как бы то ни было, у меня тут кругом иконы Пресвятой Девы.

Я, можно сказать, беру в жены лесную тишину. Моей супругой будет приветливое темное тепло всего мира. Оно открывает свою тайну тем, кто слушает в безмолвии, но в этой тайне сокрыто все, что шепчут на своих ложах влюбленные. И не мой ли долг оберегать тишину, молчание, девственную нищету, из которых прорастает любовь? Я ухаживаю за этими растениями ночью, в тишине поливаю их псалмами и пророчествами, и они становятся древним райским деревом и *axis mundi*, мировой осью, Крестом. *Nulla silva talem profert*. Таких деревьев не сыскать ни в одном лесу. Их нельзя размножить, но это уже не интересно.

Я непременно должен видеть первые проблески света. Я должен присутствовать при воскресении Дня, в одиночестве и полном безмолвии наблюдать, как восходит солнце. В этот совершенно бесцветный миг из леса на востоке выходит слово «ДЕНЬ», звучащее каждый раз по-новому, изрекаемое на неведомом языке.

Проповедую птицам: «Досточтимые друзья, благородные создания, мне нечего вам сказать, кроме одного: оставайтесь собой,

будьте птицами. Вы сами по себе – проповедь!» «К чему столько слов?» – спрашивают они.

Обряды. Мою кофейник в бадье с дождевой водой. С опаской подбираюсь к флигелю. Там – ужик, лежит, свернувшись на балке. Традиционно намекаю ему, что змеям там не место. Каждое утро твержу: «Ты опять здесь, негодник?»

Еще один обряд. Опрыскиваю кровать (тараканы и комары). Закрываю все окна с южной стороны (жара). Открываю с северной и восточной (прохлада). Опускаю шторы. Беру флягу, четки, часы, книгу, которую нужно вернуть в библиотеку.

Пора навестить род человеческий.

Отправляюсь в путь, иду между соснами. В долине жарко. Там работают машины – наверное, сажают кукурузу. Лес благоухает. В дубовой роще дует прохладный западный ветер. Вот тропа, с которой я однажды согнал медянку. А вот тут видел осторожную, грациозную лису, бежавшую к норе с кроликом в зубах. А вот и бетонный крест. Когда рушили монастырскую стену, послушники спасли его и поставили в лесу. Люди думают, что здесь кто-то похоронен, а это просто крест. Почему бы в лесной чаще не стоять бетонному кресту?

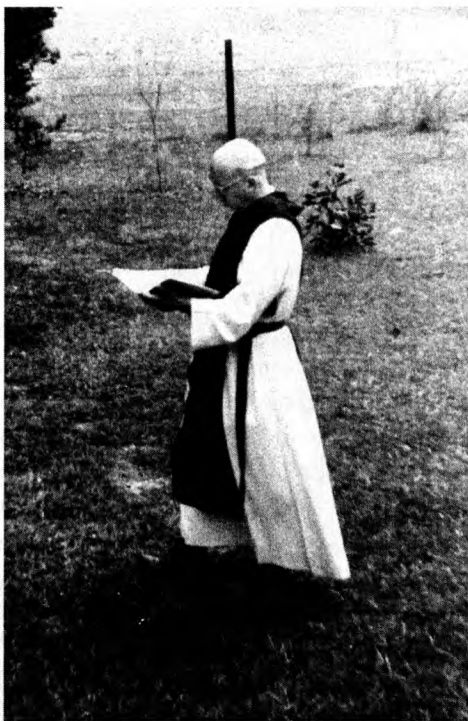
Где-то наверху белка проделывает головокружительные трюки. Кокетливо перелетает с ветки на ветку.

Выхожу на опушку над жаркой ложчиной и старым загоном для овец. Вот и монастырь – ощерился окнами, гудит от трудов праведных.

Длинная желтая стена обращена к солнцу, а под ней – крутой склон с фруктовыми деревьями и ульями. Одно из самых неказистых строений на земле. И все-таки, как ни старались его изуродовать и лишить всякого своеобразия, многие обитатели выглядят еще хуже. Оно так заурядно, что не отличается даже простотой.

Прискорбная неудача церковной архитектуры – хотели соорудить ничтожество, но и этого не смогли! Обливаясь потом, взбираюсь к послушникам и ставлю флягу на бетонный пол. Звонят в колокола. Здесь я монах, и у меня есть обязанности и послушания. Покончив с ними, вернусь в лес, где я – никто.

В хоре поют молодые монахи. Они то терпеливы, тихи, ясноглазы, то задумчивы, кротки, смущены. Сегодня расскажу им о «Литтл Гиддинг» Элиота, разберу первую часть поэмы («Особое время года – весна посреди зимы»). Они будут внимательно слушать, думая, что кто-то другой говорит им о какой-то другой поэме.



Томас Мертон в Гефсиманском аббатстве.

Осень 1965 г.

«Аллилуйя» второго гласа – мощь и основательность латыни, торжественный распев, стоящий на «ре», как на таинстве, присутствии. Все неминуемо возвращается к «ре». Sol-Re, Fa-Re, Sol-Re, Do-Re. В промежутке много других нот, но слышна она одна. Consonantia: каждая нота звучит отчетливо, но все вместе смешиваются в одной. (По странному недосмотру в монастыре сохранился григорианский распев. Надолго ли?)

В трапезной читают послание, в котором Римский папа осуждает войну, бомбардировки мирных жителей, карательные акции, убийства заложников, пытки пленных (все во Вьетнаме). Понимают ли в этой стране, о ком он говорит? Все привыкли, что Папа клеймит только коммунистов, и давно перестали слушать. Монахи, кажется, понимают. У чтеца дрожит голос.

Жарким полднем возвращаюсь в свою душную хижину. Иду с полной флягой по полю, по дубовой роще мимо амбара, вверх на гору, потом по сосновому лесу. Жаворонки с пением взмывают из высокой травы. Под широким свесом крыши гудит шмель.

Сижу в прохладной дальней комнате, где смолкли все звуки, где всякий смысл растворился в гармонии жары, соснового аромата, тихого ветра, пения птиц и основной ноты, неслышной и непроизносимой. Время обязанностей миновало. Полуденная тишина вбирает в себя все, и все непостижимо в господствующей ноте, от которой расходятся прочие звуки и к которой устремляется всякий смысл, дабы обрести полноту. Спрашивать, когда она зазвучит, значит потерять полдень. Она уже прозвучала, и все вокруг вторит ей.

Подметаю хижину. Расстилаю на солнце одеяло. Кошу тра-



Очаг Томаса Мертона

ву во дворе. Жаркий полдень. Пишу. Скоро унесу одеяло и буду стелить постель. Солнце скрылось за тучей и клонится к закату. Наверное, будет дождь. Звонит монастырский колокол. Усердный цистерцианский трактор гроыхает в долине. Сейчас нарежу хлеб, поужинаю, прочту псалмы и уйду в дальнюю комнату. На закате под окном запоют птицы, долина погрузится во тьму. Меня снова обступят мол-



Сандалии Томаса Мертона

чаливые Цзы и Фу (люди без служения и обязанностей). Птицы кружат над своими гнездами. Я сижу на прохладной соломенной подстилке и гляжу на кровать, где буду спать один под иконой Рождества.

Тем временем в небе над моей головой летит стальной апокалиптический херувим, бережно неся свое яйцо и свое послание.

ИЮНЬ – НОЯБРЬ 1965

8 июня 1965 Духов день

Огромная радость одинокой жизни обретается не просто в тишине, красоте и безмятежности природы, пении птиц и не в мире собственного сердца, а в пробуждении и чуткости сердца к голосу Бога – неизъяснимой, тихой, твердой внутренней уверенности в том, что ты призван к послушанию Ему, должен слушать

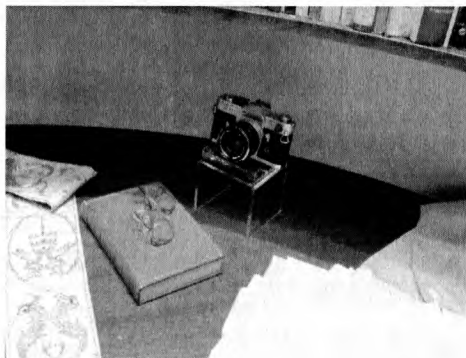
Его, поклоняться Ему здесь и сейчас, в молчании и одиночестве. В этом – весь смысл твоего существования, которое приносит плоды, как и все твои (добрые) дела, а сердце, которое было мертво во грехе, искуплено и очищено.

И это не просто вопрос «существования», но и радостного, осознанного труда «в скиту», который ты совершаешь в молчании и не по собственному выбору или в силу необходимости, а в послушании Богу. Но голос Бога звучит не каждую минуту, поэтому часть «трудов праведных» – внимать Ему, чтобы не упустить ни единого звука Его голоса. Когда мы понимаем, что не умеем слушать, что наши сердца очерствели и огрубели, то сознаем, как важен этот труд и как плохо мы к нему подготовлены.

6 октября 1965

Я все больше и больше ощущаю плоды здешней одинокой жизни с ее борьбой, долгими часами покоя, солнцем, лесами, невидимой благодатью и помощью. Жизнь созидательная и смиренная, жизнь в поиске и послушании, простая, непосредственная, требующая силы (у меня ее нет, но она дается свыше). Бывают мгновения страшного срыва, за которым следует выздоровление. Я только сейчас начинаю понимать, что такое настоящая жизнь – без привычных масок, предосторожностей и уверток. И все же мне необходима обычная жизнь. Вчера вечером, за ужином у меня возникла глубокая уверенность в том, что мне нужны святые и ангелы в моем одиночестве.

Я призван сюда, чтобы расти. «Смерть» – критическая точка



Личные вещи Томаса Мертон, представленные на выставке в Центре Мертон в октябре 2010 г.

роста, переход в новое измерение бытия, к зрелости и продуктивности, пока еще мне неведомых (они во Христе и Его Царстве). Ребенок в материнской утробе не знает, что произойдет после рождения. Он должен родиться, чтобы жить. Я здесь для того, чтобы научиться правильно относиться к смерти как к новому рождению.



Личные вещи Томаса Мертона,
представленные на выставке
в Центре Мертона в октябре 2010 г.

Это одиночество – убежище под Его крыльями, место, где я могу скрыться в Его Имени, святилище, где благодать Крещения остается осознанной, живой, действенной реальностью, имеющей силу не только для меня, но и для всей Церкви. Словно зерно во вселенной, я буду Христовым зерном, посаженным здесь, и принесу плоды для других людей. Смерть и воскресение во Христе.

Необходимо, чтобы Дух «подтвердил» мое призвание (в Церкви, через настоятеля или общину ...) Чтобы я стал тем, кто я есть, чтобы занял свое место и исполнял свою роль, был собой, то есть выбирал то, что судил мне Бог, направляя всю мою жизнь к тому, чтобы стать человеком, которого Он любит. Я слишком часто был просто человеком, индивидом, безразличным к Его любви, пренебрегал ею как огромной возможностью, открытой для каждого. (Мы все любимы «в общем и целом», но должны лично принять особую любовь Бога к нам).

Настало время понять, какая великая сила вырастает из молчания. Правда, не без борьбы.

Послушание Богу означает, прежде всего, ожидание, способность «ожидать Господа». Значит, прежде всего, нужно принять

то, что человеку придется ждать. Иначе какие-нибудь подспудные обстоятельства помешают послушанию.

29 ноября 1965

Сегодня утром я приоткрыл дверь в «Дуинские элегии» Рильке и вошел в нее (раньше я лишь заглядывал в окошко и читал отрывки из них). Прежде всего, я услышал звук немецкой речи и ощутил Первую элегию как целое. (В меньшей степени мне это удалось с Восьмой элегией). Нужен этот холм, тишина и холод, чтобы по-настоящему понять эти великие стихи, чтобы жить ими, как я жил «Четырьмя квартетами». Две этих современных больших поэмы, действительно, очень много значат для меня. Как Гарсиа Лорка, (которого я давно не читал). Другие мне просто нравятся, я принимаю их: У. Х. Оден, в известной мере – Стивен Спендер, совсем иначе – Дилан Томас. Но «Дуинские элегии» и «Четыре квартета» рассказывают о моей жизни, моем «я», моей судьбе, христианстве, призвании, отношении к современному миру, моем месте в нем. Возможно, это удалось Пабло Неруде в книге «Местоительство – Земля» и, конечно, Вальехо. Впрочем, в «Местоительстве» я тоже всего лишь заглянул в окно.

The Intimate Merton

ПИСЬМА

ПЕРЕПИСКА ТОМАСА МЕРТОНА И БОРИСА ПАСТЕРНАКА⁵⁵

*Гефсиманское аббатство
Траппистский монастырь
Кентукки, США*

22 августа 1958 г.

Дорогой Борис Пастернак!

Хотя нас разделяет огромное расстояние и непреодолимые барьеры, я рад говорить с Вами, видя в Вас родственную душу. Мы оба поэты: Вы – великий, я – совсем незначительный. В Америке наши стихи издает одно издательство – New Directions. Правда, прозу Вашу печатает Pantheon, а мою – другое издательство.

Я еще не имел удовольствия прочесть Вашу последнюю автобиографию, зато «Охранная грамота» глубоко запала мне в душу. Признаюсь, что Вы и Ваше творчество гораздо ближе мне, чем творчество большинства признанных сегодня западных писателей. Я понимаю Вас глубже, чем Джойса, которого, впрочем, очень люблю. Когда Вы пишете о своей юности, проведенной на Урале, в Марбурге, в Москве, мне кажется, происходящее с Вами происходит и со мной, я вижу себя на Вашем месте. С другими писателями у меня могут быть общие мысли, с Вами – что-то более глубокое: словно мы встретились на такой жизненной глубине, где люди уже не отделены друг от друга. Если прибегнуть к языку, близкому мне, католическому монаху, мы словно познали друг друга в Боге. Пожалуй, не стоит просить прощения за эти слова, ведь они говорят о чем-то простом, привычном и для меня очевидном. Уверен, что Вы меня хорошо поняли. Конечно, каждый человек остается самим собой и отделен от всех остальных. Но призван он к тому, чтобы соединиться с другими, понять их на уровне, превосходящем его

⁵⁵ Впервые опубликована в журнале «Континент», № 15, 1978 в переводе В. Пруссакова.

индивидуальность. В русской традиции это единство зовется «соборностью» – понятие, которое на Западе плохо понимают.

С радостью посылаю Вам свою поэму в прозе или медитацию «Прометей», недавно напечатанную здесь одним из моих друзей. Надеюсь, Вам понравится книга или, по крайней мере, как она издана. Я прочел в одном журнале, что Вы живете под Москвой, в загородном доме. Если Вы получите только письмо, а книгу – нет, пожалуйста, сообщите мне. Я попробую выслать ее еще раз.

Я собираюсь учить русский язык, чтобы читать русскую литературу в оригинале. В переводах многое теряется. Мне бы хотелось прочесть Ваши произведения по-русски. Но до этого еще очень далеко. Современная русская поэзия даже в переводах побуждает к изучению русского языка. В западной литературе чувствуется большая усталость и упадок. Я люблю Маяковского, и меня чрезвычайно интересует Хлебников (правильно ли я пишу его имя?). Что Вы о нем думаете? Блок тоже очень интересен. А молодые поэты? Есть ли среди них хорошие? Кого бы Вы посоветовали прочесть? Знаете ли Вы, что в Латинской Америке много прекрасных поэтов? Я особенно ценю выдающегося темнокожего бразильского поэта Жоржи де Лима. Чилиец Неруда, наверное, хорошо известен в СССР. Полагаю, вы его читали.

Мой дорогой Пастернак, я очень рад, что могу написать Вам и поблагодарить за Ваши прекрасные стихи и великую прозу. Ваш голос важен для всего современного человечества, так же, как голос Шостаковича. Власть, видимо, не понимает, что Вы значите для страны и для всего мира. Что бы ни предстояло нам впереди, уверен, что такие люди, как Вы, и, надеюсь, я, способны к диалогу, который, действительно, приведет к прочному миру и принесет в будущем плоды. Этот мир и плодотворная работа – духовная реальность, к которой Вы причастны, а многие другие – нет.

Но именно эта реальность важна. Из глубин этой реальности и во свидетельство о них я дружески и с восхищением жму вашу руку. Поминаю Вас в молитвах и прошу Божьего благословения для Вас.

Ваш брат во Христе

отец Людовик

27 сентября (Воздвижение Креста Господня) 1958 г.

Дорогой друг!

Благодарю Вас от всего сердца за теплое, необычайно близкое мне письмо. Как и Ваше письмо ко мне, оно настолько полно родственными мне мыслями, что, кажется, наполовину написано мной самим.

Меня огорчает лишь то, что Вы придаете слишком большое значение «Охранной грамоте» и моей ранней поэзии и прозе. Они не заслуживают Вашего интереса, в отличие от романа, изданного в Pantheon («Доктор Живаго»), который, возможно, стоит того, чтобы Вы его прочли.

Ваш «Прометей» еще не дошел до меня. С удовольствием прочту эту поэму. Но не будьте нетерпеливы к моему ответу. Я завален письмами, на которые нужно отвечать.

Благодарю Вас от всей души за ваши молитвы и желаю Вам здоровья и сил для Вашей подвижнической жизни. Я не подписываю письмо, чтобы оно вернее дошло до Вас.

Подмосковье, Переделкино через Баковку

3 октября 1958 г.

Дорогой Мертон, благодарю Вас за «Прометея» и за доброе, незаслуженное мною посвящение. Я получил книгу вчера. Думаю, что строфы четвертая и седьмая – наиболее удачные, в последней же – прекрасное личное осознание Христовой мудрости.

Пользуюсь возможностью еще раз повторить Вам, что за исключением «Д. Ж.», который стоило бы прочесть, все остальные мои произведения лишены глубины и значительности. Большая часть моих зрелых лет были отданы Гете, Шекспиру и другим великим авторам и объемным переводам.

Благодарный Вам Б. П.

*Траппистский орден
Кентукки*

23 октября 1958 г.

Мой дорогой Пастернак!

Очень рад был получить оба Ваших письма. Удивительно уже то, что наша переписка состоялась во времена, когда наши страны тратят огромные деньги на то, чтобы достичь Луны, и не находят в себе сил, чтобы понять друг друга... Сейчас куда важнее то, что один человек может найти себя в другом, живущем на другом конце Земли. Именно такое общение ведет к миру, освящает и обогащает жизнь, раскрывает образ Божий, скрытый в каждом из нас.

За то время, что прошло после первого письма к Вам, я с огромным интересом прочел Ваш роман, изданный в Pantheon. Я поразился тому, что многое из написанного Вами, я мог бы написать сам. Мне вспоминается фраза из моей последней книги: «Настоящее искусство так или иначе продолжает Откровение Иоанна Богослова»... Для меня это так ясно и очевидно, что я всерьез усомнился в том, что Ренессанс внес какой-либо существенный вклад в религиозное искусство... Но довольны о частностях.

Ваш роман – это целый мир; софийный мир, рай и ад; мистические образы Юрия и Лары подобны Адаму и Еве, которые идут по нему во мраке, держась за руку Божью. Земля, по которой они ступают, – Святая Русь, чье предназначение скрыто от нас в глубинах Божьего Промысла. Изумительно прекрасен и трогателен отрывок из «сибирской» главы, где Лара беседует с подружкой о вере, а Юрий в соседней комнате слушает их беседу. То, что две женщины тихо произносят при свете настольной лампы, похоже на «глаз бури», – место, нетронутое вихрем, пустота, которая хранит в себе всю истину. Впрочем, трудно выделить в книге какой-то один отрывок. Огромные волны красоты захлестывают читателя, словно волны неизведанного моря. Благодаря Вам я полюбил Урал и очень хочу там побывать (почему Вы так резко пишете о нем в ранних книгах?) Великолепно описано путешествие на вос-

ток. Очень интересна глава о партизанах. Единственное, о чем я сожалею, что Вы мало рассказали о дяде Николае и его взглядах, которые, однако, просвечивают во всем происходящем.

Правильно ли я понимаю, что вам близок «Смысл любви» Соловьева? Я вижу много общего в этих двух произведениях. Оба они призывают нас бороться с самодовольством, напоминают о том, что в будущем нам предстоит огромный труд – труд преобразования, то есть труд любви – одной любви. Вы, конечно, знаете, что я хорошо знаком с поэмой о Великом инквизиторе Достоевского и горячо убежден в том, что в ней содержится важнейший урок для нашего времени. Он важен и для нас, и для вас. Одинаково важен везде.

Теперь позвольте мне рассказать Вам, как я сам встретился с Ларой. История эта вполне обыденная. О ней знают только трое моих друзей, и я не хочу скрывать ее от Вас, человека, столь близкого мне по духу.

Однажды мне приснилась юная еврейка, девушка лет пятнадцати, которая сидела рядом со мной и вдруг, поддавшись искреннему и чистому порыву любви, обняла меня так, что я был тронут до глубины души. Она сказала, что ее зовут Proverb, т. е. «Притча», и это имя показалось мне таким простым и прекрасным. «Она из рода святой Анны», – подумал я. Я заговорил с ней о ее имени и выяснил, что она им тяготится, поскольку его высмеивали подруги. Я заверил ее, что это имя прекрасно, и тут сон оборвался. Спустя несколько дней я оказался в Луисвилле (мы довольно редко бываем в городе). Там на одной из самых оживленных улиц я вдруг понял, что каждый из окружающих меня людей – Притча, что каждый из них прекрасен, чист, застенчив, как она, хотя и не знает об этом. Люди не ведают, кто они такие, даже стыдятся своих имен, потому что их высмеивают другие. Они не ведают, что каждый из них, на самом деле, – горячо любимое Отцом дитя, которое искони было при Нем художницею, радостью всякий день, веселясь пред лицом Его⁵⁶.

56 Прит 8:30.

Вот я и посвятил Вас в скандальную тайну монаха, который влюбился в девушку, к тому же еврейку. Таковы нынешние монахи. Героический аскетизм канул в прошлое.

Я очень рад, что Вам понравился мой «Прометей» и что до меня дошел ваш отклик. Недавно я выслал Вам подборку моих стихов. Не ищите в них высокой духовности. Примите их просто как плод поэтических усилий. Впрочем, я не отделяю духовности от искусства. Идущее от сердца духовного человека всегда духовно, хоть это и не всегда явно. Поэтому напрасно Вы отрекаетесь от своих ранних произведений. Возможно, они не столь грандиозны, как Ваш последний большой роман, но определенно дали всходы. Особенно меня потрясла сцена в подвале цветочного магазина в «Охранной грамоте», которая глубоко символична, как и все в жизни. Вы сами когда-то об этом говорили!

Постараюсь переслать Вам свою книгу «Знамение Ионы». В ней много автобиографического, связанного с монашеской жизнью. Вам это может быть интересно. Надеюсь New Directions вышлет Вам один из моих поэтических сборников. Не судите мои стихи слишком строго.

Пора заканчивать письмо. Какое утешение писать Вам и читать Ваши ответы! Неизменно молюсь за Вас за каждой мессой. Непременно помяну Вас в одной из Рождественских служб. На Рождество их целых три, и одну из них мы обычно посвящаем людям, которых не знаем. На сей раз это будет подарок лично Вам. Я не могу отслужить мессу 2 ноября, в день поминовения усопших, и помолиться о тех, кто погиб во времена, описанные в Вашем романе. Надеюсь сделать это позже. Напишу Вам и сообщу, когда все получится.

Благословляю Вас, дорогой Пастернак; тепло и дружески жму вашу руку. Да ниспошлет Вам Пресвятая Матерь Божья свет, мир, силу, а Ее Божественный Сын да будет Вам радостью и защитой.

Искренне Ваш во Христе.

*Гефсиманское аббатство
Траппистский орден,
Кентукки*

15-е декабря 1958 г.

Мой дорогой Пастернак!

Вот уже долгое время я, затаив дыхание, слежу за невообразимо глупой шумихой, поднятой вокруг Вашего имени по всему свету. Каким же утешением было известие, пришедшее от Вас окольными путями, из которого я узнал, что здравый смысл понемногу берет верх. Иов был окружен горсткой ложных утешителей. Вас же одолевает целая толпа безумцев, чьи упреки можно считать похвалой, а похвалы – упреками. К тому же никто из них, видимо, ни слова не понимает из того, что Вы пишете. Только слепцы и глупцы, к какому бы лагерю они ни принадлежали, могут связывать с политикой книгу, которая ясно показывает, как бесплодны и пагубны любые попытки лишить человека его духовной сути. Каждый свободный человек призван обличать безумие и нравственное разложение мира, но подобное призвание не всегда приятно.

Узнав о том, что Вам присуждена Нобелевская премия, я сразу же написал письмо Суркову из Союза писателей. Я пытался убедить его, что Ваша книга не политический памфлет, а великое произведение искусства, которым Советская Россия может гордиться. Впрочем, сомневаюсь, что это как-то поможет. О деле Вашем я по счастливой «случайности», вернее промыслительно, узнал почти сразу, хотя у нас тут нет ни газет, ни радио.

О самых последних событиях мне ничего неизвестно, но если американцы предложат Вам снять фильм по роману «Доктор Живаго», и если такой фильм осложнит бы ваше положение, то настоятельно советую вам не принимать предложения. Кино здесь делают плохо, и по своим книгам я ничего снимать не разрешаю. Не станут ли власти благосклоннее к Вам, если Вы публично объявите о том, что не хотите экранизировать свой роман? Трудно судить, глядя издали, но определенно, голливудская постановка «Доктора Живаго» принесет больше вреда, чем пользы.

Я изо всех сил молюсь о Вас, как и мои послушники, – юные и чистые души. Они слышаны о Вас; особенно их тронули ваши стихи о Христе в Гефсиманском саду.

Пусть Вас не выводят из равновесия ни враги, ни друзья. Надеюсь, что, несмотря на все препятствия, Вы продолжите писать великую книгу, которую мы все ждем от вас. Желаю Вам обрести в себе глубокую живительную тишину, ибо только в ней – источник истины, истины подлинной, и родник самой жизни, окно, ведущее в бездну вечности и к Богу. Это прекрасная тишина зимней ночи, обступавшей Юрия, когда он писал стихи, сидя в уснувшем доме и слушая вой волков. В глубине наших душ есть мир и чистота, которые позволяют нам вслед за Пресвятой Девой бесстрашно и смиренно сказать жизни «Да» и впустить Христа в этот мир.

Не могу удержаться и не рассказать Вам об Аврааме и о том, как он с улыбкой поклонился Богу, услышав от Него, что он, столетний старик, станет прародителем великого народа, что из его дряхлого тела произойдет жизнь, питающая весь мир. Его смех – это проявление высшей свободы, воскресение и таинство воскресения, наивное и чистое юродство души, освобожденной Богом от ее собственной ничтожности. Вот как об этом писал Филон Александрийский:

«Чтобы убедить нас, гордых и упрямых, Авраам падает ниц (Быт.17:7) и раздражается внутренним смехом: его лицо в слезах, а ум смеется – в нем воцарилась безграничная, чистая радость. Мудрец, который получает утешение сверх надежды, вмещает и то, и другое, падает ниц и смеется. Он встает на колени потому, что сознает себя смертным ничтожным существом, которому нечем хвалиться. Он смеется потому, что только Бог благ, только Бог – податель великих даров, утверждающих его в праведности. Пусть творение падает ниц с плачем: этого требует его хрупкая, склонная к унынию природа. Но пусть ее потом восставит Бог, и пусть она рассмеется, потому что Бог – его опора и радость».

Желаю Вам сохранить такую улыбку, какая бы печаль ни врывалась в Вашу жизнь.

Я получил от Курта В.⁵⁷ *Essai Autobiographique*. Читаю книгу с огромным удовольствием. Я же посылаю Вам свою книгу, тоже автобиографическую. Называется она «Знамение Ионы». Через какое-то время она дойдет до вас. New Directions собирается отправить Вам томик моих стихов, которыми я несколько не горжусь.

Я начал учить русский язык и был бы благодарен Вам, если бы Вы достали для меня что-то полезное для моих занятий – какую-нибудь простую прозу или стихи. Есть ли на русском жития святых? Кто-то сказал мне, что жития святых Евграфа и Лары помогут лучше понять героев Вашего романа. Я совсем не знаю русских святых, кроме, разумеется, Серафима Саровского. Меня очень интересует спор между св. Нилом Сорским и Иосифом Волоцким – Вы легко догадаетесь, почему.

Надеюсь, Вы получите это письмо до Рождества, и оно принесет Вам мое благословение, молитвы и любовь. Свою вторую Рождественскую мессу я отслужу за Вас и Вашу семью: мы духовно отпразднуем с Вами этот день в свете Младенца Иисуса, который робко и тихо входит в нашу тьму и превращает зимнюю ночь в рай для тех, кто, как пастухи и смиренные волхвы, находят Его там, где никто не думал Его искать: в очевидности и нищете повседневной человеческой жизни.

Искренне Ваш во Христе.

7 февраля 1960 г.

Любезнейший Мертон, Τό χήρυγμα ἡμέτερου ἀγαλλύωοραϊ ὡς τχῆοτα⁵⁸. Я чрезвычайно благодарен Вам за то неисчерпаемое, чудесное чтение, которое предстоит мне в ближайшем будущем. Я снова обрету себя после долгого, нескончаемого писания писем, утомительных забот, бесконечных стихотворных переводов, висящих надо мной и отнимающих у меня время, и самоуколов из-за невозможности продвинуться в уже наполовину начатой, много раз прерываемой, почти недоступной новой рукописи.

57 Курт Вольф – друг Пастернака и первый издатель «Доктора Живаго» в Америке.

58 Отвечаю на Ваше воззвание так скоро, как только могу. (греч.)

Тем паче благодарю Вас за то, что прощаете мое долгое молчание; сердечная слабость и утомление, объясняющие мое печальное состояние, в котором смертельно перегруженный и постоянно страдающий от нехватки времени и отдыха, я погибаю от вынужденной непродуктивности, которая хуже, чем полная праздность. Но я поднимусь, вы увидите, соберусь с силами и однажды вновь заслужу и обрету Ваше чудесное доверие и снисходительность.

Любящий Вас Б. Пастернак

Не пишите мне, не смущайте меня вашей безграничной щедростью. Следующая попытка возобновить нашу переписку будет исходить от меня.

ПИСЬМО АЛЕКСЕЮ СУРКОВУ

29 октября 1958 г.

Алексее Суркову

Союз советских писателей

Москва

Уважаемый господин:

Пишу Вам как искренний ценитель литературы, где бы она ни создавалась, в том числе, и в России. Пишу с надеждой на то, что Вас, как и меня, волнует будущее человечества. Я полагаю, что оба мы понимаем, как важны основные человеческие ценности, какими бы средствами мы их ни защищали. Я понимаю, что для Вас литература неотделима от политики. Но уверяю Вас, мое письмо не имеет никакого отношения к политике. Как многим хорошо известно, я – очень далекий от политики автор. Именно поэтому, Вы, вероятно, почти ничего не слышали обо мне. Именно это позволяет мне писать объективно и непредвзято о том, что крайне важно для нас обоих, равно как и для наших стран.

Если Вы все-таки считаете, что я подсознательно склоняюсь к какому-нибудь политическому лагерю, скажу, что на смену капитализму может прийти другой строй, и это не сильно бы меня огорчило. Я всей душой отвергаю насилие, агрессию, где бы они ни проявлялись, – в войне, революции, полицейском произволе. Неважно, от кого агрессия исходит и неважно, в каких «благих» целях. Я стремлюсь только к миру и справедливости, к тому, чтобы никого не лишали прав человека: гражданина, рабочего или, в данном случае, *писателя*.

Я говорю с Вами от имени огромного числа западных интеллектуалов, которые долгие годы с большой надеждой и участием ждали, когда в России появится великое литературное произведение. Я говорю с Вами как человек, который искренне восхищается русским литературным наследием, его невероятным разнообразием и богатством. И вместе с тем я говорю с Вами как тот, кто разочарован книгами современных русских писателей, не

оправдавших ожиданий, связанных с их великими предшественниками.

Поэтому с огромной радостью и глубоким уважением к России я и многие другие встретили недавно появившийся роман Бориса Пастернака, в котором так волнующе описаны героические страдания русского народа, его борения, жертвы, свершения. Присуждение Пастернаку Нобелевской премии не могло быть политическим ухищрением. Это выражение искреннего и непредвзятого восхищения русским гением, достойным наследником великого Толстого.

Что заставляет Вас думать, что западные читатели только и делают, что выискивают в романе отрывки, выставляющие коммунизм не в лучшем свете? Разве мы не слышали из уст самого Хрущева куда более резкие разоблачения в 1956 г. на XX съезде партии? Разве после этого Пастернак не мог позволить себе высказаться, причем не столь резко и прямо?

Пастернак в своей книге пишет, что в первые годы после революции было много бессмысленной жестокости. Но если вы сейчас силой заставите его замолчать, вы лишь докажете, что с тех пор мало что изменилось. Я совершенно не понимаю, как вы можете осуждать Пастернака, не осуждая при этом себя, – ведь он писал свой роман, уверенный в том, что тирания и жестокость канули в прошлое. Если вы осудите его, объявите его неправым, что это будет значить для мира?

Если ваши власти сильны и успешны, почему они боятся сказанного Пастернаком о первых послереволюционных годах? Если вы заставите его замолчать, все увидят в этом признак слабости и страха. В 1956 г. весь мир надеялся, что, наконец-то, настают времена свободы и процветания – в награду за долгие трудные годы сталинского режима, когда столь великодушный русский народ приносил неисчислимые жертвы. «Доктор Живаго» написан именно с такой надеждой. Если вы осудите роман и его автора, эта надежда окажется трагическим заблуждением, а страна погрузится в еще худший мрак. Осуждая Пастернака, вы осуждаете себя и Россию. Если Пастернак будет несправедливо

наказан за свой роман, написанный из лучших побуждений, весь мир будет думать о России с горькой печалью. Вслед за высшим партийным руководством Пастернак заговорил открыто, поэтому травля писателя докажет, что советский строй несовместим со свободой слова и по своей природе обречен на беспросветную деспотию.

Неужели вы, коммунисты, не понимаете, что этот великий роман прославляет Россию? Он призывает весь мир любить ее, восхищаться русским народом, чтить его за небывалый героизм, с которым он нес бремя, возложенное на него историей. Если вы накажете Пастернака, то лишь потому, что не любите Россию, человечество, служите интересам политического меньшинства.

Начиная это письмо, я заверил Вас, что не буду касаться политики, но вижу, что мои утверждения носят политический характер. Вы назовете их лживыми. *Поверьте, я бы первый возрадовался, если бы мне доказали, что мои утверждения лживые.* Прошу Вас, представьте мне хоть какие-то доказательства. Я с радостью соглашусь с ними и обнародую их. Но если Бориса Пастернака попытаются сломать и будут травить за его книгу, я не приму никаких «доказательств». Лучшим доказательством было бы, если бы Пастернака оставили в покое!

Мои слова могут задеть Вас, но я считал своим долгом сказать их. Я пишу Вам без всякой ненависти, как друг, а не враг. Я искренне и горячо люблю русский народ, отношусь к нему с безграничным восхищением. К нынешним правителям России я тоже не испытываю ни страха, ни ненависти – только печаль.

В заключение осмелюсь попросить Вас напечатать это письмо и Ваш ответ на него в «Правде». Возможно ли такое в России? У нас это вполне возможно.

Искренне Ваш,
ТОМАС МЕРТОН
A Thomas Merton Reader

ПРИЛОЖЕНИЕ⁵⁹

Имя Томаса Мертона – писателя, монаха, мистика, поэта, социального и литературного критика, переводчика и комментатора – недостаточно известно российскому читателю. Давняя публикация его переписки с Борисом Пастернаком в «Континенте»; тонкая книжечка «Новые семена созерцания» (М., 1997) и несколько случайных статей и стихотворений, затерявшихся в море «благочестивой» печатной продукции последних лет; его биография, написанная Джимом Форестом (Джим Форест. Живущий в премудрости. – М.: Истина и жизнь, 2000); восторженное, но далеко не всегда верное изложение его взглядов в религиозно-философских отделах толстых газет и солидных журналов; фантастические пересказы его биографии в Интернете, которые даже не хочется опровергать; наконец, тенденциозная статья в поп-энциклопедии «Мистики XX века» (главный на сегодняшний день источник информации для оккультно ориентированных энтузиастов Мертона) – вот, похоже, и все.

Между тем, книги Мертона – а их более семидесяти, включая дневники, которые он вел всю жизнь, и обширнейшую переписку, – тридцать пять лет спустя после его смерти продолжают переиздаваться, новые биографии и воспоминания выходят в свет, в разных странах возникают общества изучения его наследия, количество диссертаций и научных работ, интерпретирующих его творчество, исчисляется сотнями и увеличивается с каждым годом.

Определенно, этот монах с широкой улыбкой на загорелом лице и крепкими руками крестьянина представляет собой загадку. Мертон не вписывается ни в одну из готовых схем, сколько бы мы ни старались ввести его в рамки. В лучшем случае удастся описать его как глубоко противоречивый, романтически-контрастный тип – монах и бунтарь, католик и дзен-буддист, молчальник и мастер слова, – что, конечно, делает его понятнее, но

59 Континент, 2003, № 116.

вряд ли приближает нас к разгадке. Ведь то, что на первый взгляд представляется противоречием, таковым для Мертон отнюдь не являлось – он жил и осознавал себя в ситуации экзистенциального парадокса, не примиряющего, а попросту отменяющего всякие противоречия. Эта свободно и ответственно принятая позиция была оплачена всей его незаурядной жизнью. Как Иона во чреве кита, Мертон плыл к своему назначению «во чреве парадокса». Книга, эпилог из которой мы предлагаем читателю, так и называется – «Знак Ионы».

Одно предварительное замечание по тексту. Образ ночи, вокруг которого построен предлагаемый отрывок, – ключевой для Мертон. В этом отношении он следует традиции испанского мистика XVI в. Хуана де ла Круса. «Темная ночь души», как ее описывает де ла Крус, – это состояние онемения всех чувств, через которое проходит человек в своем приближении к Богу.

Елена Давыдова

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ТОМАС МЕРТОН: МИСТИК МИРОТВОРЧЕСТВА

Чудотворцев много, миротворцев мало. Томас Мертон не просто миротворец, он – неожиданный миротворец, этим похож на академика Сахарова.

В 1961-м году Томас Мертон был популярнейшим писателем, автором бестселлера, причем бестселлера не просто религиозного – для протестантской Америки это нормально, а бестселлера римо-католического, автобиографической книги о том, как родившийся во Франции сын новозеландского художника-атеиста становится американским монахом-созерцателем.

Бестселлер – это деньги. Мертон этих денег не получал: приняв монашество, он подписал бумагу, по которой все авторские права передавались обители. Благодаря популярности его книг, были уплачены копившиеся десятилетиями долги. Люди не только покупали книги, сотни людей приезжали в монастырь увидеть воочию, что же это такое. Тут они видели не Томаса Мертона, а отца Луи – в монашестве имя Мертона было Людовик, в честь французского святого.

Популярность Мертона как писателя предвещала новую эпоху. Скоро и президентом был избран римо-католик Кеннеди. Новизна – в большей терпимости. В XIX веке американцы относились к католикам – ирландцам, итальянцам – как к плохим, непатриотичным гражданам, которые, прежде всего, верны какому-то итальянскому Папе, а не Америке. Впрочем, 1960-е в 1961-м году только начинались. Еще не было битлов, мужчины носили короткие аккуратные стрижки, и новинкой кинематографа был фильм с Мэрилин Монро, который назывался «Let's Make Love». Это было абсолютно приличное выражение, которое в 1965-м сделали неприличным, включив в лозунг «Make Love, Not War». Протестовали против войны во Вьетнаме, но вот странное совпадение – впервые об этом лозунге сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» 9 мая 1965 года.

Пацифизм Мертона изначально был связан с Россией. Тем не менее, в сегодняшней России Мертона знают так, как будто он умер в 1960-м. Впрочем, и как автора книг о вере его знают очень мало. В Америке миллионные тиражи Мертона сравнимы с тиражами Айн Рэнд – дочери петербургского аптекаря, после революции переехавшей в США. Рэнд никаким пацифизмом не занималась, она писала сценарии для Голливуда, а бестселлером стал ее роман 1957 года «Атлант расправил плечи» – неизменное украшение книжных полок в России, пособие для начинающих миллиардеров.

Началось все с того, что немцы массово бежали из «российского» Берлина в свободный Берлин. 15 июня 1961 года немецкий наместник Кремля Ульбрихт заявил: «Никто не собирается строить стену!» («Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!») 25 июля президент Кеннеди выступил по телевизору с обращением к стране, объясняя, что необходимо дать отпор советской агрессии в Германии – именно как агрессию американцы расценили намерение закрыть границу между ФРГ и ГДР. Американцы начали строить личные убежища от радиации, в школах ученики тренировались прятаться от ядерного взрыва под партами. Через два месяца Ульбрихт приказал построить стену длиной в 43 километра.

25 октября 1961 года американских военных задержали при попытке проехать в «советский» Берлин, что было нарушением договоренностей 1945 года. Полковник Соловьев заявил: «У нас тоже есть танки» и, хотя американские танки были далеко от пропускного пункта «Чарли», 33 российских танка (число, заставляющее вспомнить «Тридцать три богатыря») выкатились к Бранденбургским воротам, а 10 из них остановились в 50-ти метрах от «Чарли». Тогда американцы подогнали свои танки на точно такое же расстояние. Последовали переговоры, и, в конце концов, Хрущев уступил: российские танки отъехали на 5 метров, на такое же расстояние отъехали американские. Еще несколько метров уступили русские – отъехали американцы. Президент Кеннеди сказал: «Лучше стена, чем война».

Атомная бомба не взорвалась, а вот отец Луи взорвался. Мертон написал свою первую, ударную статью: «Корень войны – страх».

Заголовок вполне понятен только, если помнить, что главное обвинение в адрес пацифистов есть обвинение в трусости, а главное религиозное чувство есть страх Божий.

Ничего неожиданного во вспышке Мертон не. Первые же строки его духовной автобиографии, описывающие обстоятельства его рождения, описывают рождение в мире войны. 1915 год! Это была война, порожденная бесстрашием, – надменным бесстрашием императоров, королей, маршалов, интеллектуальных и деловых элит. Бесстрашие людей, готовых воевать со злом и этим порождающим такое зло, которое, по слову Христа, «хуже прежнего» (Мф 12:45).

«Корень всех войн страх, причем люди боятся не столько друг друга, сколько вообще всего. Люди не доверяют не только друг другу: они самим себе не доверяют». Люди видят зло и опасность в других, потому что не могут увидеть зла и опасности в себе.

Путь Мертон есть путь не к Богу, а к реальности – к реальности из мира фикций и страхов, подмен и самообмана. Мертон пришел к Богу, как Ливингстон пришел к истокам Нила, – поднимаясь по берегам реальности в поисках истока. Истоком реальности оказался Бог. Реален далеко не весь мир – во всяком случае, не мир человеческих чувств и отношений. В реальности грех внутри человека, а в «мире сем» свои грехи считают простительными ошибками, зато грехи других – столь тяжкими преступлениями, что другого можно остановить только смертью.

Реального в мире, где человек все время вытесняет свой грех, перенося его на другого, очень мало, преобладают ложь и манипуляции, и увидеть реальное, выследить Творца реальности далеко не легко, и для этого нужна смелость. Настоящая реальность – есть реальность любви. Умение увидеть свой грех не парализует волю, напротив. «Я верую, – писал Мертон, – что основой подлинного политического действия может быть только признание того, что реальное решение наших проблем никогда не находится в руках одной отдельно взятой партии или нации, оно всегда результат совместного труда всех».

Если Бога нет, то осознание своей и общей вины может парализовать. Вина есть, а простить некому. Комплекс неполноценности во

всей красе. Но Бог есть – и человек может принять себя и других во всей сложности вместе с безумием и коктейлем из добра и зла. Доверие к людям происходит от доверия к Богу. Страх потерять Бога есть исток смирения, которое больше боится потерять человека, чем быть убитым этим самым человеком.

Мертон не служил в армии во Второй мировой – оказался слишком беззубым. Его младший брат служил и погиб. Мертон вспоминал, как в детстве, играя с друзьями, прогонял от себя брата, швыряя в него камнями. Вот – страх и война, вытекающая из страха. Просто «нормальные» люди не помнят, в кого они швыряли камнями и почему. Незадолго до гибели брат побывал у Мертона в монастыре, и вновь они оказались разлучены: Мертон пел наверху и с хоров смотрел на брата, стоявшего внизу. Вскоре уже не на кого было смотреть.

Мертон, для которого Франция, точнее юг Франции, был буквально родным краем, заметил, что во время Второй мировой римо-католическое духовенство этого юга совершенно спокойно приняло нацистов (под вывеской Виши) как меньшее зло, потому что священники были оторваны от реальности семинарским воспитанием. Сам Мертон от реальности оторван не был; более того, его путь к Богу был путем к реальности, и реальности мирной. Война – это ирреальность, это превращение реальности в фикцию. Поэтому «борьба за мир» есть, прежде всего, молитва о мире. Молиться о мире и готовиться к войне – как если больной «молится о здоровье, а затем пьет яд».

Самая лучшая статья Мертона против войны не была опубликована при его жизни – запрет исходил прямо из Рима, где жил глава ордена. Статья блестящая, афористичная, глубокая, почти бердяевская по энергетике: «Во всякой войне есть лишь один, всего один победитель – сама война. Правда, справедливость, свобода, мораль – побежденные. Война подчиняет их себе». Защищая свободу от тирании, которую несут враги, люди оказываются рабами самозащиты.

Мертон выступил в этой статье как историк. «Моралисты пытаются установить правила войны, но, в конечном итоге, война навязывает им свои правила». Иллюстрации он взял из доядерной эры. Бердяев писал, что атомная бомба убьет войну, потому что нельзя

же допустить атомной войны, но Мертон видел страшную правду: атомная бомба возвела милитаризм на новый уровень. В сущности, атомная бомба лишь обнажила то, что было скрыто в дубинке и копье – безумие всякой войны: «Проблема не в том, что ядерное оружие аморально, а обычное нормально, а в том, что любое оружие несправедливо, когда используется для устрашения («терроризирования») населения и его тотального уничтожения».

В начале Второй мировой, – напомнил Мертон, – британская авиация осуждала немецкие бомбежки заведомо мирных целей – например, Лондона. Правительство заявило, что будет бомбить только военные объекты. Но сперва позволили себе ночные бомбежки – дневные вылеты оборачивались гибелью самолетов, а ночью прицельность бомбежек намного ниже, а с 1942 года уже официально было решено бомбить с целью устрашения врага – то есть, тот же террор. Черчилль заявил, что для победы надо снять все ограничения с насилия. Самая знаменитая из таких бомбежек, конечно, Дрезден, где, – напоминал Мертон факт, неизвестный русскому читателю, – погибли не только немцы, но тысячи русских и украинцев, бежавших от Сталина.

Когда в 1944 году Америка начала ковровые бомбардировки, группа протестантских священнослужителей (вместе с католическим священником, иезуитом Джоном Фордом) выступила с протестом. Группа была влиятельная, Рузвельт ответил: «Это сокращает войну». Общественное мнение оказалось на стороне Рузвельта в соотношении 50:1. Ковровая бомбардировка Токио в марте 1945 года погубила в огне намного больше людей, чем атомная бомба, но при этом погибло 13 американских летчиков, а при бомбардировке Хиросимы ни один американец не пострадал.

Пацифизм Мертона, как и любой пацифизм, может казаться непрактичным – и казался таковым в Америке, конечно, очень и очень многим, наверное, большинству его читателей, но то в Америке. А в России? Русский читатель разве узнает себя – своих родителей, своих предков – в мимолетном, самоочевидном для Мертона, как и всех западных людей, упоминании России и русских как врагов человечества, коммунистов, стремящихся уничтожить Запад? Мы же не такие

и такими никогда не были! Мы никого не хотели и не хотим уничтожить!! Мы хорошие!!! Это вы, это вы!...

Вот именно об этом и переживает Мертон. Он больше переживает за американцев, потому что он – американец и потому что американцы – свободные люди: им война не навязывается сверху, они ее ведут сами. Несвобода русских людей – обстоятельство, облегчающее вину или отягчающее? Проблема в том, что русские люди никакой вины не видят. Мы всего лишь защищаемся! – Традиционный боевой клич милитаризма. В ходе этой самообороны была создана огромная империя, были изготовлены тысячи атомных бомб, российские военные боролись за «освобождение от проклятых империалистов» по всему земному шару, уже и американским пролетариям были готовы придти на помощь с атомными ракетами. Так ведь не просто «мы люди подневольные», а много хуже: вообще вытеснение из сознания факта, что Россия была для окружающих источником опасности. Ну, танки в Праге... Но как бы и не танки, и не в Праге, это как бы не реальность, а вот колбаса подорожала – это реальность.

Этика антиличностная, этика коллективизма, когда люди сплачиваются, чтобы преступления каждого растворились в кажущейся невинности всех. Был человек и исчез, а толпа сомкнулась в том месте, где он был, и жует мороженое, воспитывает детей, все хорошо. Целые страны исчезали в пасти советского блока, но толпа смыкается, и никто не виноват, ничего не произошло, мы просто живем: хлеб жуем, и на масло с колбасой денег не хватает, пожалейте нас, помогите кто чем может.

Конечно, коллективизм – высшая стадия индивидуализма, и Мертон обличал именно индивидуализм. Символом такого индивидуализма в Америке стала «этика убежища». В сентябре 1961 года иезуит Макхью взбудоражил всю Америку статьей, где рассудительно объяснил, что человек, который построил убежище для своей семьи, имеет право использовать это убежище для своей семьи. Если он впустит туда посторонних, скажем, соседей, то погибнут все, потому что убежище рассчитано (запас воздуха и еды) только на его семью.

Дискуссия, разгоревшаяся после статьи Макхью, закончилась тем, что президент Кеннеди развернул программу строительства

общественных убежищ – совсем как в России. Но было ли это настоящим решением? Конечно, нет; проблему подняли на глобальный уровень. Общая идея осталась прежней: надо обороняться, надо стрелять, и если для самообороны нужно стрелять раньше противника, надо стрелять первым. В том числе, атомной бомбой.

Мертон во всей этой ситуации поражала иррациональная вера людей в то, что после атомной войны на Земле останется жизнь. Но больше всего его поразило замечание Макхью, что оставить соседа умирать от радиации, – это христианский долг перед своей семьей; конечно, можно подставить щеку и соседа впустить, но это не долг, это «героизм». Адскими муками Бог грозит только за несоблюдение долга. Подставить щеку – это бонус, это хобби. Богу будет приятно. Не подставишь – тоже нормально. «Трагедия в том, – писал Мертон, – что сопротивление злу без употребления силы составляет самую суть морали Нового Завета, а его рассматривают как причуду битников и эксцентричных сектантов. <...> Конечно, «подставь щеку» – это восточная гипербола, но мы не можем просто отмахнуться от сказанного Господом Христом. <...> Закон Христов дан, и после этого естественный закон перестал быть самодостаточным».

Сопротивление злу не насилием, подчеркивает Мертон, есть, прежде всего, сопротивление. Христианство не разрешает человеку быть предателем, стоять и смотреть, как убивают ребенка. Трусость – пародия на смирение. Но ненасильственное сопротивление есть готовность отдать свою жизнь, а не оборвать чужую. Этика ненасилия не отрицает, что, если нет выхода, человек может использовать силу, чтобы защитить свою семью, свое убежище. Но прятаться в убежище, на самом деле, бессмысленно!

«Атомная мораль» Макхью вызвала взрыв негодования в Америке. Образ Христа, который стоит с пистолетом около убежища и палит в соседей, витал в воздухе, вызывая оторопь. «После атомной войны нужнее всего будут люди из той категории, которые никогда не станут рыть себе убежище и выстрелами отгонять от этого убежища соседей», – сказал один теолог. Макхью критиковали Билли Грэм и Рейнхольд Нибур, методисты, баптисты, раввины, но это были голоса «посторонних», а Мертон-то был римо-католик.

Мертон одним из первых сформулировал мысль о том, что никакой «христианской цивилизации» никогда не было, он первый констатировал смерть идеи «справедливой войны» – концепции, которая веками успокаивала совесть людей. Первым – но далеко не единственным. Драма в том, что в Америке – и, шире, на Западе – было много людей, подобных Мертону, было еще больше его противников, шли споры в прессе, по телевидению, демонстрации и контр-демонстрации. В России всего этого не было. Строили общественные убежища не потому, что признали личные безнравственными, а потому что личное было уничтожено без всякой атомной бомбы. Общественная дискуссия как идея умерла с разгоном Учредительного собрания и закрытием «буржуазной» – то есть, свободной – печати. К счастью, есть возможность (не говоря уже о необходимости) воскреснуть из этого принудительного небытия – небытия личного и небытия социального, полу-жизни в полу-сне – и Мертон один из тех, кто первым ждет у входа в реальность.

МИСТИКА ТОМАСА МЕРТОНА

В эпоху Владимира Соловьева и Льва Толстого слово «мистик» в русском языке означало любого взрослого, кто молится, хотя бы по молитвеннику, да еще и причащается; в сегодняшнем – верующего, которому нечто «открыто». У мистика – «откровение». Например, он слышит голос Божий или видит Матерь Божию. Более того, ему «открыто» закрытое для других верующих. Есть догматы и таинства, от них – спасение, а есть мистика, от нее – нечто неизмеримо большее или, во всяком случае, иное.

Мистика оказывается чем-то вроде телепатии, только по отношению не к человеку, а к Богу. Впрочем, и к человеку: мистиков все время подозревали в прозорливости. Потому что Бог вроде зеркала или супер-компьютера: если ты к нему подключился, ты можешь узнать и о людях все.

Еще мистика была похожа на любовь в браке – редкий и немного пугающий викторианцев феномен, вроде домашнего привидения. В эпоху Владимира Соловьева, (который Мертону мог бы приходиться

дедушкой), брак был нормой по умолчанию, как и принадлежность к религии. На холостяков и нигилистов-атеистов глядели как на марсиан, на посещающих монастыри и молящихся – как на изуверов, фанатиков. У людей безобидное уродство, которое приличные люди не замечают, вроде горба. Если человек нормальный, он будет стараться это уродство не выпячивать, а скрывать по мере сил.

Мертон – ненавистник любви к мистике, интереса к мистике. Его мистика – быть человеком, поэтому он и жужжал над миром, как пчела, собирая всюду человечность и принося ее Богу. Попутно он исполнял и функции защитника улья, конечно, покусывая любителей полакомиться чужим медом. Его писательство не средство поделиться медом, а именно то, что оно и есть, – писательство, описание. Жужжание пчелы, которым пчела обращается к другим пчелам, а во все не к тем, кто мнит себя пасечниками и уж точно не к покупателям меда в магазине.

Ненавидеть любовь к мистике – признак глубоко церковного человека и первое качество, благодаря которому Мертона сделали наставником послушников и монахов. Любить надо не мистику, а Бога и людей. Мистика – вроде чиха. Чихает человек, значит, жив, дыхательный аппарат в норме. Вот пользоваться табакеркой и вызывать чихание искусственно – это не вполне нормально.

Чихал ли Мертон? Трудно сказать именно потому, что он в изобилии производил носовые платки – то есть, книги, призванные спасти от мистицизма. Не людей спасти, конечно, а Бога. Мертон был мистиком в том смысле, что его тексты раздвигали границы веры, углубляли религию и очищали Церковь. При этом мистика перестает выполнять несвойственные ей функции, а значит, здоровеет.

Что такое «оздоровление мистики»? В эпоху Мертона это – приватизация мистики. Закрытие мистики для всего безличного и сверхличного. Это далеко не тривиально, и современный мистицизм движется ровно в противоположном направлении, почему и является всего лишь старым добрым нигилизмом в новых мехах.

«Приватное» в русском языке, к несчастью, означает «частное», то есть первая ассоциация – «частичное». Человек – часть целого. Такие нотки проскальзывают и у Мертона, особенно раннемонашеско-

го, но все же его базовая интуиция – противостояние всему, что не Бог и не человек. Поэтому он, безусловный католик, даже римо-католик, никогда не позволяет себе честертоновских трелей о величии католичества и Церкви вообще.

Мертон как мистик – верный сын своего отца, который был живописцем в духе Сезанна, то есть писал мир, каков он есть, не фантастический мир академиков, передвижников или, упаси Бог, фэнтези, – а именно с фэнтези чаще всего путают мистику. Отец Луи в прозе и стихах писал ровно то, что отец отца Луи писал маслом. «Гора семи уступов» Томаса Мертона? Смотрите картину Оуэна Мертона, на которой гора Сен-Мишель, то есть вовсе и не гора, а диковинное чудо, где самый первый ярус – то остров, то – полуостров, а дальше ярусы один за другим сужаются, рукотворные, сходясь в шпиле, и нарисовано вроде бы банально, но это не фотография и не фантазия, это – духовное восхождение, неброское, но динамичное.

Мертон не воспеваает христианство, потому что любит Христа, не воспеваает Церкви, потому что он внутри Церкви. Его эссе о том, как он, обходя монастырь ночью, не ради молитвы, а чтобы проверить проводку, и есть в сжатом виде вся его мистика: от вслушивания в сопение природы и монахов до подъема в поднебесье, готовое в любое мгновение вспыхнуть, чего Мертон ни в коем случае не допустил бы. Антипожарная мистика.

Мертон – очень христианский мистик, нимало не «универалистский»: он не пытается смешать Христа с Буддой. Да, он был – слава глобализации! – не только по книгам, но и лично знаком с подобными ему популяризаторами дзен-буддистской религиозности, но знаком именно «лично». Он становился более собой, благодаря этим знакомствам, но не перевоплощался в буддиста, подобно тому, как, молясь перед иконой, не пытался стать иконой и даже принимал против этого гигиенические меры духовные. Его мистика вполне традиционная, как у апостола Павла: путь от человека мясистого к человеку человечному, от человека «ветхаго» к человеку настоящему, вечному, от ложного – к подлинному. По мере этого движения он внезапно видит в жителях Луисвилля ходячие образы Божии, столпы света и океаны бездонности.

Разумеется, тексты Мертона то и дело из хлебов превращают в камни под предлогом превращения их в воздух. Он пишет слова, а его слова объявляют фикциями. Он пишет «Христос», а предлагают читать «Некто» или даже «Нечто». Мол, это все условность – Христос, Будда, Моисей... Ну да, нет ни горы Сен-Мишель, ни Джомолунгмы... Мертон – мистик христианский, мистик предельно конкретного и беспредельно личного: есть боль – не боль Креста, а боль Распятого на кресте, есть свет – не свет воскресения, а свет Воскресшего. Кто старается не слышать конкретного похрапывания конкретного собрата по монастырской спальне, тот не услышит, как ни старайся, и Бога, Который хрипит, захлебываясь собственной кровью на Голгофе, и эта Голгофа на Голгофе только начинается и, видимо, нигде не заканчивается. Только это и спасает Бога от бесчеловечности, а человека от обожествления Бога и самого себя.

КАПИТАЛ АЛЬТРУИЗМА И ТЕОЛОГИЯ ЭГОИЗМА: МЕРТОН И РЭНД

Томас Мертон и Айн Рэнд современники, почти ровесники: Мертон родился на 10 лет позже, в 1915, зато умер на 14 лет раньше, в 1968. Оба – авторы бестселлеров, причем не американских, а мировых, тиражи миллионов в пять, переведены на десятки языков. Оба не коренные американцы, ведь и Рэнд приехала в Америку, правда, не из Франции, а из России, но родилась она в семье, которая, как и семья Мертона, относилась к среднему классу.

Дальше начинаются принципиальные различия. В России книга Рэнд не сходит с книжных полок, а книги Мертона на них не появились. С некоторой натяжкой можно сказать, что у Мертона есть российский заменитель (не эрзац!) – книга Меня о Христе, тоже бестселлер, не сходящий с полок уже треть века. Только Меня ближе к Рэнд, потому что его книга не автобиография, а Мертон не просто автобиография, а воскрешая «Исповедь» блаженного Августина.

Рэнд – гимн эгоизму, материализму, объективизму, Мертон – гимн альтруизму, идеализму и субъективизму, правда, надо понимать, что Бог для Мертона – Субъект.

Самое же интересное, что эти тексты об одном – о свободе. Более того, оба романа – романы воспитания, описание пути, «Pilgrim's Progress», Дао.

В одном отношении текст Мертоня безусловно лучше – язык. Книга Рэнд – это американский вариант «Что делать?», и популярность книги обратно пропорциональна ее литературным достоинствам. Критики, писатели, интеллигенты – к огорчению и озлоблению Рэнд – отнеслись и относятся к ее творению скептически. Текст Мертоня был встречен с восторгом еще в рукописи такими титанами, как Ивлин Во и Грэм Грин, – к изумлению и испугу Мертоня. Так и остаются эти тексты в двух разных измерениях, как кока-кола и коньяк, «Лолита» и «Анна Каренина», шампунь и шампанское.

Беда, что некоторые люди пьют шампунь, а некоторые моют голову шампанским. Иногда это одни и те же люди.

«Книга» Мертоня – главная – в России обычно называется «Семирусная гора». Крайне неудачное название гасит всякий читательский интерес. Есть ли варианты – проблема переводчиков, но почему же книга популярна? Что в ней привлекало и привлекает с первой же страницы?

В рукописи начало было очень глубокое, изящное, теологическая эссеистика высшего сорта, даже не коньяк, а бриллиант. Издатель убедил автора, что книги пьют, а не разглядывают, во всяком случае, обычные люди, и начало теперь – “Prisoner's Base”. Это название первой части, которое перевести на русский представляется невозможным.

Если плохо знать английский, все ясно, – база, на которой содержится заключенный. Только вот «база» – кстати, и в русском языке – это, прежде всего, основание, а в книге, которая называется «Семирусная гора» это подошва – подошва горы. Это база, а не тюрьма («prison»). Более того, «база» в английском еще – и прежде всего – отправная точка в игре, исходная позиция игрока в бейсболе. Это дом родной! Человек в мире – пленник родного дома! Узник свободы (так часто характеризовали Бердяева, тексты которого Мертон знал и ценил).

Затем идет чудная музыкальная первая фраза:

«В последний день января 1915 года, под знаком Водолея, в год великой войны, в тени гор на границе Франции с Испанией я пришел в этот мир».

Про Водолея, к сожалению, у нынешнего русского читателя первая ассоциация с «эрой Водолея», одним из мифов «новой религиозности», которая любит Мертона с такой же силой, с которой Мертон подобную религиозность не любил. Все остальное и необычно, и чудесно. Необычно – для английского текста – хотя бы чисто немецкое отнесение в самый конец подлежащего и сказуемого. Глаз читателя скользит по времени и пространству, спускается от созвездия в горную долину (кстати, у Рэнд горная долина тоже символ счастья) – понятно, что затем будет восхождение на гору. И вдруг «я пришел в мир». Что, конечно, сразу увязывается с английской идиомой смерти «он от нас ушел», в русском языке так и не принявшейся. Сразу возникает ощущение парадокса: если «пленник», «заключенный», то как же «пришел»? Пришел в тюрьму? Добровольно? И кто тут у нас добровольно рождается?

В том-то и дело, что для объективизма Рэнд человек входит в мир, как ее героиня входит на светский прием, в помещение вокзала или офиса. Просто и ясно, нечего муть-мистику нагонять. Для веры Мертона есть базовая тайна: человек рождается совершенно несвободно, не по своей воле, но в то же время – свободным и заключенным одновременно. Человек начинается как пленник, а дальше идет. Или – не идет. Мертон тут же дает свою отгадку парадокса, появляется слово «Бог» (которое в 1949 году уже гарантировало, что книгу читать будет очень специфическая и немногочисленная публика), но читатель готов и “religion” простить, ему интересно, человека тянет к свободе, как кота к валерьяне:

Свободный по природе, по образу Божию, я был, тем не менее, пленником собственной агрессивности и сосредоточенности на себе – по образу мира, в котором я был рожден. Этот мир был явлением ада, набитого людьми, которые, подобно мне, любили Бога и все же ненавидели Его, были рождены любить Его, но вместо этого жили как пугливые, унылые, запутавшиеся в противоречиях голоднюки».

В английском тексте последнее слово первого абзаца «hungers», и этого слова по сей день в английский словарях нет. Оно абсолютно понятно – это слово «голод», но оно поставлено во множественное число и обозначает голодающих, а этого в английском языке не было и нет («голодающие» по-английски очень выразительно – «пустые желудки», но Мертон ведь не о желудке, а прямо наоборот – о духе). Как если в русском сказать «любвей». Такой неологизм – как угол иголкой или шпагой, каждый воспринимает в меру своей толстокожести, но воспринимает каждый (кроме тех, кто привык к комиксам и их литературному воплощению в виде Рэнд).

Если для Рэнд успех «Атланта» стал концом писательского пути, (остаток жизни она прожила, раздавленная этим успехом), то Мертон с этого успеха только начался. Бестселлера, правда, он больше не создал, но бестселлеры не сеют, а только жнут. Он написал еще семьдесят книг и еще столько и полстолько в виде писем. Джим Форест, автор единственной полной биографии Мертона на русском языке (написана в 1991, опубликована в 2000) говорит о «томе» своей переписки с Мертоном, и это не преувеличение. Случай Мертона показывает, что интернет – очень запоздалое удовлетворение нашего врожденного спроса на общение, на обратную связь.

Безусловно, мир лежит во зле, и у большинства людей этот спрос-запрос томится в каком-то внутреннем карцере, но он есть, и его выводит из своего внутреннего карцера Мертон. Это не вполне тривиально, потому что Мертон был монахом-траппистом, а трапписты – молчальники. Мертон – вернее, отец Людовик, отец Луи, это его настоящее имя после рукоположения – говорил много и в монастыре, потому что был наставником послушников. Более всего, однако, он говорил текстами, и некоторым из старших монахов, начальников, это казалось несовместимым с монашеством. Можно формально оправдать Мертона – формально нет обета молчания, даже у траппистов, есть лишь традиция. Однако реальным оправданием ему было, что писание есть не речь, а созерцание. Как и чтение. Во всяком случае, потенциально.

Найти Мертону аналог не только в России, но и в православии в целом, не получается. Вряд ли может служить утешением, что и на За-

паде, в католичестве и протестантизме ему тоже немного аналогов. Он своего рода американский вариант Честертона, Толкина и Льюиса. Больше Честертона, потому что у Мертона было тонкое чувство юмора, а у двух последних авторов с юмором было не очень. Тем не менее, Мертон, конечно, это следующее поколение человечества, и словечко «американизированный» тут будет очень уместно, поскольку «Америка» – символ глобализации. Обращение в римо-католичество, скорее, этому противоречило, потому что католичество середины XX века, «дособорное» – это Церковь с очень победоносно выпяченной грудью, гордящаяся тем, что в ней, как и в Британской империи, никогда не закатывается солнце, и не замечаящая, что в ней постоянно закатывается куда-то под канцелярский стол человеческая душа.

Третью свою небольшую жизнь Мертон провел не просто в монастыре, а в американской глухомани, в Кентукки, и лишь в последние годы ему было позволено (формула-то какая!) вырваться на простор, где он и погиб самой нелепой и самой промыслительной смертью от удара током. Однако, его поколение – первое, для которого понятие «глуши» обрело буквальное значение: «глушь» там, где к тебе глухи, тебя не слушают, тебе не отвечают, и она может быть и на Бродвее, и где угодно, но если у тебя есть, с кем початиться, то тебе весь мир не глушь.

Конечно и в XVII, и в XIX веке образованные люди, если хотели, жили в одном хронотопе с Цицероном и Конфуцием, галлами и скифами, но только после Первой мировой войны стали реальными такими биографии, как у Мертона, который не бежал от революции, как Рэнд, а просто родился в семье, где отец из Новой Зеландии, а мать американка, но поскольку отец – художник, то родился на юге Франции, исколесил всю Европу и Америку, а умер в Бангкоке. Благодаря дешевым билетам на самолеты, происходит «развиртуализация», как стали говорить в 2000-е годы. Люди, знакомые лишь по переписке, встречаются и становятся друг для друга реальностью. Оказывается, вся предыдущая мировая история была как раз виртуальной реальностью, где люди контактировали очень мало, редко и поверхностно. Только появление виртуальной реальности сделало возможной и необходимой реализацию подлинной реальности, а

раньше никто и не подозревал о цене соприкосновения, потому что не было свободы, с кем соприкасаться, а с кем нет.

В этом отношении пытаться найти в Мертоне связи с Россией означает идти прямо в противоположном Мертону направлении – в направлении от национального, всегда местечкового и канцелярского, к личному и, соответственно, планетарному.

Церковь, в которой Мертон стал священником, исчезла аккуратно вместе с ним, только он переселился в рай, а эта Церковь просто исчезла, и он этому немало способствовал. Его Церковь не была «пиром победителей», островком спасения в море нечестия, невротическим бегством от людей к Богу, средневековым айсбергом в поисках очередного «Титаника». Он не был чужд, конечно, этой Церкви. Это заметно, прежде всего, в его филиппиках в адрес «современного мира», который делает не то, что «должен». Мертон даже иногда подпускает петуха про «а вот раньше...». Такая церковь идет вперед спиной и удивляется, почему ее все время толкают и отпускают в ее адрес неприятные замечания. Она и сейчас есть – особенно в России, но и на Западе прорыв к свободе сменился реакционным откатом, когда семинаристов (и прихожан!) больше интересует язык богослужения и борьба с абортами, чем богообщение и борьба за мир. Мертон за мир боролся и вообще был до неприличия «политизирован», потому что придерживался не той политики, которая почитается церковностью – политики агрессивного конформизма, утверждения Бога через земные институты и земными средствами. Мертон – это созерцательный активизм и активная созерцательность, то есть, он верующий в самом строгом смысле слова.

В целом, Церковь Мертона стала, конечно, более церковной – этим она похожа на капитализм Рэнд, который стал более капиталистичным. Человечность стала человечнее, бесчеловечность – бесчеловечнее, все логично. Популярность книг Мертона и Рэнд часто объясняли кошмаром Второй мировой войны, и сам Мертон «Гору» начинает с упоминания окопов и трупов. Его молитва о мире – результат абсолютно реального страха перед атомным взаимоничтожением, страха, которого не ведали жившие в вате обитатели советского блока.

Историки часто говорят о том, что века длиннее столетий; есть «длинный двадцатый век», который начался раньше 1900 года, а закончился... Впрочем, он еще, возможно, и не закончился, как выясняется, пластинку, словно заело. Мертон же был воплощением «короткого XX века», того в этом веке, чего не было до Второй мировой войны и что взяло тайм-аут вскоре после его гибели: медовый месяц личной свободы, настоящей, глубинной эмансипации, великих надежд и реформ, но в сочетании с неведомыми ранее страхами, тем более жуткими, что они были новыми. Дамоклова бомба, холодная война, мини-юбки и реформы в оплоте косности, то бишь Католической Церкви. Мертон был хиппи до хиппи – именно хиппи, а не декадент, хотя в Кембридже он причастился и декаданса (чего стоит одно распятие по пьяни), и завел внебрачного ребенка. Его единственное отличие от хиппи в том, что он не призывал: “Make Love, Not War”, а просто созидал любовь, изготавливал ее постом и молитвой – любовь как таковую, не секс и не детей.

Джим Форест писал о конфликте Томаса Мертона и отца Людовика Мертона. Можно расширить это сравнение. Есть две Америки. Америка, которая на поверхности, Америка эмигрантов, которые совершенно не собираются ни во что переплавляться и сохраняют то, что давно уже захирело на их «исторических родинах», в том числе траппистские монастыри, меннонитов, амишей, воскресные школы и т.п. Америка отца Людовика Мертона. А есть Америка, которая витает в воздухе, как Лапута, привязанная к первой, земной Америке тысячами нитей и канатов, но которая и есть по-настоящему Новый Свет, не долина среди гор и не триумфатор на горе, а парящая в небесах странная страна, для которой, конечно, Томас Мертон умер как минимум дважды: когда давал монашеские обеты и когда погиб от удара током, но в которой он никогда не умирал. А если и умирал, то каждый раз воскресал все более трезвый, мирный и не просто веселый, а, как говорили о святом Амвросии Оптинском, которого он чрезвычайно напоминает, – веселенький среди своих постоянных озарений, хлопот, прозрений и любовей.

Священник Яков Кротов

БЛАГОДАРНОСТИ

Я благодарю всех, кто мне помог в переводе, составлении и оформлении этой книги: прежде всего, знатока и переводчика Томаса Мертона, моего редактора, советчика и помощника Андрея Кирилленкова и выпускающего редактора Елену Григорьеву; моего сына Льва Васильца, подсказавшего мне несколько удачных выражений; моего друга Андрея Графова -- гениального библеиста и полиглота -- за помощь в расшифровке трудных мест оригинала, Анну Райскую, помогавшую мне в оформлении текста.

Благодарю архивиста и директора Фонда Томаса Мертона при Белларвильском университете, Луисвилль, шт. Кентукки, Пола Пирсона за помощь в работе над книгой, предоставленную информацию о жизни и творчестве Т. Мертона.

Благодарю директора издательства Православного университета им. о. Александра Меня Дмитрия Лисицина, который взял на себя труд по изданию книги, и Татьяну Шорникову за художественное оформление книги.

Необходимые в таких случаях слова благодарности не могут выразить той глубочайшей сердечной признательности, которую я испытываю ко всем этим людям.

Анна Курт

ISBN 978-5-87507-271-0



9 785875 072710 >